Моя кузина Рейчел

Автор:
Дафна Дюморье

Моя кузина Рейчел

Дафна Дюморье

Азбука-классика

Роман Дафны Дюморье (1907–1989) «Моя кузина Рейчел», по мнению многих критиков, не уступает прославленной «Ребекке», а в чем-то и превосходит ее. Это прекрасный образец развития традиции «готического» и «сенсационного» романа: детективная интрига сочетается с необычной любовной драмой, разворачивающейся на фоне лирических пейзажей Корнуолла и живописных картин Италии в сороковые годы XIX века. С каждым поворотом сюжета читатель все больше теряется в догадках, кто перед ним – жертва несправедливых подозрений или расчетливая интриганка; но к какой бы версии он ни склонялся, финал окажется неожиданным. Изданный в 1951 году роман мгновенно стал бестселлером, и всего через год на экраны вышел одноименный фильм с Оливией де Хэвиленд и молодым Ричардом Бартоном; в 1983 году по роману был снят телевизионный сериал.

Дафна Дюморье

Моя кузина Рейчел

Daphne du Maurier

MY COUSIN RACHEL

Copyright © Daphne du Maurier, 1951

All rights reserved

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC

© Н. Тихонов (наследники), перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Глава 1

В старину преступников вешали на перепутье Четырех Дорог.

Но это было давно. Теперь убийца расплачивается за свое преступление в Бодмине на основании приговора, вынесенного судом присяжных. Разумеется, если совесть не убьет его раньше. Так лучше. Похоже на хирургическую операцию. Тело, как положено, предают земле, хоть и в безымянной могиле. В прежние времена было иначе. Вспоминаю, как в детстве я видел человека, висящего в цепях там, где сходятся Четыре Дороги. Его лицо и тело были обмазаны смолой, чтобы он не сгнил слишком быстро. Он провисел пять недель, прежде чем его срезали; я видел его на исходе четвертой.

Он раскачивался на виселице между небом и землей, или, как сказал мой двоюродный брат Эмброз, между небесами и адом. На небеса он все равно бы не попал, но и ад его жизни был для него потерян. Эмброз ткнул тело тростью. Как сейчас вижу: оно поворачивается от дуновения ветра, словно флюгер на ржавой

оси, – жалкое пугало, некогда бывшее человеком. Дождь сгноил его брюки, не одолев плоть, и лоскутья грубой шерстяной ткани, будто оберточная бумага, свисают с конечностей.

Стояла зима, и какой-то шутник-прохожий сунул в разорванную фуфайку веточку остролиста. Тогда, в семь лет, этот поступок показался мне отвратительным. Должно быть, Эмброз специально привел меня туда; возможно, он хотел испытать мое мужество, посмотреть, как я поступлю: убегу, рассмеюсь или заплачу. Мой опекун, отец, брат, советчик – в сущности, все на свете, он постоянно испытывал меня. Помню, как мы обошли виселицу кругом, и Эмброз постукивал по ней тростью. Потом он остановился, раскурил трубку и положил руку мне на плечо.

– Вот, Филип, – сказал он, – что ожидает нас всех. Одни встретят свой конец на поле боя. Другие – в постели. Третьи – где будет угодно судьбе. Спасения нет. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Но так умирает злодей. Пусть его пример послужит тебе и мне предостережением, ибо человек никогда не должен забывать о трезвости и умеренности.

Мы стояли рядом и смотрели на раскачивающийся труп, словно пришли развлечься на бодминскую ярмарку и перед нами висел не покойник, а старая Салли и меткий стрелок получал в награду кокосовый орех.

– Видишь, к чему может привести человека вспышка ярости, – сказал Эмброз. – Это Том Дженкин, честный, невозмутимый малый, пока не напьется. Жена его действительно была на редкость сварлива, но это не причина, чтобы убивать ее. Если бы мы убивали женщин за их язык, то все мужчины стали бы убийцами.

Я пожалел, что Эмброз назвал имя повешенного. До той минуты он был просто мертвецом, безликим и безымянным. Стоило мне взглянуть на виселицу, как я понял, что повешенный будет являться мне по ночам – безжизненный, вселяющий ужас. Теперь же он обрел связь с реальностью, стал человеком с водянистыми глазами, который торговал крабами у городского причала. Летом он обычно стоял со своей корзиной на ступенях и, чтобы повеселить детей, устраивал уморительные крабьи гонки. Совсем недавно я видел его.

– Ну, – сказал Эмброз, – что ты о нем думаешь?

Я пожал плечами и ударил ногой по основанию виселицы. Эмброз не должен был догадаться, что? творится у меня на душе и что я испугался. Он стал бы презирать меня. В свои двадцать семь лет Эмброз был для меня центром мироздания, во всяком случае – центром моего маленького мира, и я стремился во всем походить на него.

– Когда я видел его в последний раз, – ответил я, – у него было веселое лицо. А теперь он недостаточно свеж даже для того, чтобы пойти на наживку своим крабам.

Эмброз рассмеялся и потрепал меня за ухо.

– Молодец, малыш, – сказал он. – Ты говоришь как истинный философ. – Затем добавил, понимая мое состояние: – Если тебя тошнит, сходи в кусты. И запомни: я ничего не видел.

Он повернулся спиной к виселице и зашагал в сторону новой аллеи, которую велел прорубить в лесу, чтобы сделать вторую дорогу к дому. Я не успел дойти до кустов и был рад, что он ушел. Вскоре я почувствовал себя лучше, но зубы у меня стучали и тело бил озноб. Том Дженкин снова превратился в безжизненный предмет, в охапку тряпья. Более того – он послужил мишенью для брошенного мною камня. Расхрабрившись, я смотрел на труп, надеясь, что он шевельнется. Но этого не произошло. Камень глухо ударился о намокшую одежду и отлетел в сторону. Устыдясь своего поступка, я поспешил в новую аллею разыскивать Эмброза.

Да, с тех пор минуло целых восемнадцать лет, и, кажется, я никогда не вспоминал об этом случае. До самых недавних дней. Не странно ли, что в минуты жизненных потрясений мысли наши вдруг обращаются к детству? Так или иначе, но меня постоянно преследуют воспоминания о бедняге Томе, висящем в цепях на перепутье дорог. Я никогда не слышал его историю, да и мало кто помнит ее сейчас. Он убил свою жену – так сказал Эмброз. Вот и все. У нее был сварливый нрав, но это не повод для убийства. Видимо, будучи большим любителем выпить, он убил ее во хмелю. Но как? Каким оружием? Ножом или голыми руками? Быть может, в тот зимний вечер он, спотыкаясь, возвращался домой из харчевни у причала и душа его горела любовью и лихорадочным возбуждением? И высокий прилив заливал ступени причала, и полная луна сияла в темной воде… Кто знает, какие грезы будоражили его воспаленный мозг, какие буйные фантазии…

Возможно, когда он ощупью добрел до своего домика за церковью, бледный, пропахший крабами малый со слезящимися глазами, жена напустилась на него за то, что он наследил в доме. Она разбила его грезы, и он убил ее. Именно такой могла быть его история. Если жизнь после смерти не пустая выдумка, я отыщу беднягу Тома и расспрошу его. Мы будем вместе грезить в чистилище. Но он был пожилым человеком лет шестидесяти, а то и старше. Мне же только двадцать пять. Мы будем грезить о разном. Итак, возвращайся к своим теням, Том, и оставь мне хоть малую толику душевного покоя. Я бросил в тебя камень, не ведая, что творю. Прости меня.

Все дело в том, что, как бы ни была горька жизнь, надо жить. Но как – вот в чем вопрос. Трудиться изо дня в день – невелика премудрость. Я стану мировым судьей, как Эмброз, и со временем меня тоже изберут в парламент. Как и все члены моей семьи до меня, я буду пользоваться почетом и уважением. Усердно возделывать землю, заботиться о своих людях. И никто никогда не догадается, какая вина тяготит мою душу; никто не узнает, что, терзаемый сомнениями, я неустанно задаю себе один и тот же вопрос. Виновна Рейчел или невиновна? Может быть, я и это узнаю в чистилище.

Как нежно и трепетно звучит ее имя, когда я шепчу его! Оно медлит на языке, неторопливое, коварное, как яд – смертельный, но убивающий не сразу. С языка оно переходит на запекшиеся губы, с губ возвращается в сердце. А сердце управляет и телом, и мыслью. Освобожусь ли я когда-нибудь от его власти? Через сорок, через пятьдесят лет? Или в мозгу моем навсегда останется болезненная крупица омертвевшего вещества? Частичка крови, отставшая от своих сестер на пути к сердцу, направляющему их бег? Быть может, когда все сущее окончательно утратит для меня смысл и значение, уснет и желание освободиться? Трудно сказать.

У меня есть дом, о котором надо заботиться, чего, конечно, ожидал от меня Эмброз. Я могу заново облицевать стены в местах, где проступает сырость, и содержать все в полном порядке. Могу продолжать высаживать кусты и деревья, озеленять склоны холмов, открытые ураганным ветрам с востока. Могу оставить после себя красоту, если ничего иного мне не дано. Но одинокий человек – человек неестественный, он быстро впадает в смятение. За смятением приходят фантазии. За фантазиями – безумие. Итак, я вновь возвращаюсь к висящему в цепях Тому Дженкину. Возможно, он тоже страдал.

Тогда, в тот далекий год, восемнадцать лет назад, Эмброз размашисто шагал по аллее, я брел за ним. На нем вполне могла быть та самая куртка, которую теперь ношу я. Старая зеленая охотничья куртка с локтями, обшитыми кожей. Я стал так похож на него, что мог бы сойти за его призрак. Мои глаза – это его глаза, мои черты – его черты. Человеком, который свистом подозвал своих собак и пошел прочь от перекрестка и виселицы, мог быть я сам. Ну что ж, я всегда этого хотел. Быть похожим на него. Иметь его рост, его плечи, его привычку сутулиться, даже его длинные руки, неуклюжие на вид ладони, его неожиданную улыбку, его стеснительность при встрече с незнакомыми людьми, его нелюбовь к суете, этикету. Простоту его обращения с теми, кого он любил, кто ему служил; те, кто говорит, будто я обладаю этими качествами, явно преувеличивают. И силу, оказавшуюся иллюзией, отчего нас и постигла одна и та же беда. Недавно мне пришло на ум: а что, если после того, как он, с затуманенным, терзаемым сомнениями и страхом рассудком, чувствуя себя покинутым и одиноким, умер на той проклятой вилле, где я уже не застал его, – дух Эмброза покинул бренное тело, вернулся домой и, ожив во мне, повторил былые ошибки, вновь покорился власти старой болезни и погиб дважды. Возможно, и так. Я знаю одно: мое сходство с ним – сходство, которым я так гордился, – погубило меня. Именно из-за него я потерпел поражение. Будь я другим человеком – ловким, проворным, острым на язык, практичным, – минувший год был бы обычными двенадцатью месяцами, которые пришли и ушли.

Но я был не такой; Эмброз – тоже. Оба мы были мечтатели – непрактичные, замкнутые, полные теорий, которые никогда не проверялись опытом жизни; и, как все мечтатели, мы были глухи к бурлящему вокруг нас миру. Испытывая неприязнь к себе подобным, мы жаждали любви, но застенчивость не давала пробудиться порывам, пока они не трогали сердца. Когда же это случалось, небеса раскрывались, и нас обоих охватывало чувство, будто все богатство мироздания принадлежит нам, и мы были готовы без колебаний отдать его. Оба мы уцелели бы, если бы были другими. Рейчел все равно приехала бы сюда. Провела бы день-два и навсегда покинула бы наши места. Мы обсудили бы деловые вопросы, пришли бы к какому-нибудь соглашению, выслушали завещание, официально зачитанное за столом в присутствии нотариусов, и я, с первого взгляда оценив положение, выделил бы ей пожизненную пенсию и навсегда избавился бы от нее.

Этого не произошло потому, что я был похож на Эмброза. Этого не произошло потому, что я чувствовал, как Эмброз. В первый же вечер по приезде Рейчел я поднялся в ее комнату, постучал и, слегка склонив голову под притолокой,

остановился в дверях. Когда она встала со стула около окна и взглянула на меня снизу вверх, я по выражению ее глаз должен был понять, что увидела она вовсе не меня, а Эмброза. Не Филипа, а призрак. Ей надо было сразу уехать. Собрать вещи и уехать. Отправиться туда, где она своя, где все ей знакомо и близко, – на виллу, хранящую воспоминания за скрытыми ставнями окнами, к симметрично разбитым террасам сада, к плачущему в небольшом дворике фонтану. Вернуться в свою страну – летом выжженную солнцем, окутанную знойной дымкой, зимой – сурово застывшую под холодным ослепительным небом. Инстинкт должен был предупредить ее, что, оставаясь со мной, она погубит не только явившийся ей призрак, но в конце концов и себя самое.

Вновь и вновь спрашиваю я себя: подумала ли она, увидев, как я стою в дверях, робкий, нескладный, объятый жгучим негодованием, сознавая, что я здесь – хозяин и глава, и вместе с тем гневно досадуя на свои длинные руки, неуклюжие, как у необъезженного жеребенка ноги, – подумала ли она: «Таков был Эмброз в свои молодые годы. До меня. Таким я его не знала» – и тем не менее осталась?

Возможно, именно поэтому при моей первой короткой встрече с Райнальди, итальянцем, он тоже постарался скрыть изумление, на мгновение задумался и, поиграв пером, которое лежало на его письменном столе, спросил: «Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рейчел вас не видела?» Инстинкт предупредил и его. Но слишком поздно.

Что прошло, то миновало. Возврата нет. Ничто в жизни не повторяется. Живой, сидя здесь, в своем собственном доме, я так же не могу вернуть сказанное слово или совершённый поступок, как бедный Том Дженкин, когда он раскачивался в своих цепях.

Ник Кендалл, мой крестный, с присущей ему грубоватой прямотой сказал мне накануне моего двадцатипятилетия – всего несколько месяцев назад, но, боже, как давно: «Есть женщины, Филип, возможно, вполне достойные, хорошие женщины, которые не по своей вине приносят беду. Чего бы они ни коснулись, все оборачивается трагедией. Не знаю, зачем я говорю тебе это, но чувствую, что должен сказать». И он засвидетельствовал мою подпись под документом, который я положил перед ним.

Да, возврата нет. Юноши, что стоял под ее окном накануне своего дня рождения, юноши, что стоял в дверях ее комнаты в вечер ее приезда, больше не

существует, как не существует и ребенка, который для храбрости бросил камень в повешенного. Том Дженкин, потрепанный образчик рода человеческого, никем незнаемый и не оплакиваемый, тогда, за далью этих восемнадцати лет, смотрел ли ты с грустью и состраданием, как я бегу через лес… в будущее?

Если бы я оглянулся назад, то в цепях, свисающих с перекладины виселицы, я увидел бы не тебя, а свою собственную тень.

Глава 2

Когда вечером накануне отъезда Эмброза в его последнее путешествие мы сидели вдвоем и разговаривали, у меня не было ощущения близкой беды. Предчувствия, что мы больше никогда не будем вместе. Осень подходила к концу; врачи в третий раз велели ему провести зиму за границей, и я уже привык к его отсутствию, привык в это время смотреть за имением. Когда он уехал в первый раз, я еще был в Оксфорде и его отъезд не внес никаких изменений в мою жизнь, однако на следующую зиму я окончательно вернулся и все время был дома, как он того и хотел. Я не тосковал по стадной жизни в Оксфорде – скорее, был даже рад, что расстался с ней.

Я никогда не стремился жить вне дома. За исключением лет, проведенных в Харроу[1 - Одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ; находится в пригороде Лондона.], а затем в Оксфорде, я всегда жил здесь, с тех пор как меня привезли сюда полуторагодовалым младенцем после смерти моих молодых, рано умерших родителей. Эмброз проникся жалостью к своему осиротевшему двоюродному брату и вырастил меня сам, как вырастил бы щенка, котенка или любое другое слабое, одинокое существо, которому нужны защита и ласка.

Эмброз всегда хозяйничал не совсем обычно. Когда мне было три года, он рассчитал мою няньку за то, что она отшлепала меня гребенкой для волос. Этого случая я не помнил, но Эмброз потом рассказал мне о нем.

– Я чертовски рассердился, – сказал он мне, – увидев, как эта баба своими огромными шершавыми ручищами колотит твою крошечную персону за пустячный проступок, понять который у нее не хватило разумения.

Мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Не было и не могло быть человека более справедливого, более честного, более любящего, более чуткого и отзывчивого. Он обучил меня азбуке самым простым способом – пользуясь начальными буквами бранных слов (чтобы набрать двадцать шесть таких слов, потребовалась немалая изобретательность, но он справился с этой задачей), предупредив меня, чтобы я не произносил их при людях. Неизменно учтивый и обходительный, Эмброз робел при женщинах и не доверял им, говоря, что они приносят в дом несчастье. Поэтому в слуги он нанимал только мужчин, и их шатией управлял старый Сиком, дворецкий моего покойного дяди.

Эксцентричный, пожалуй, не без странностей – наши западные края известны причудами своих обитателей, – Эмброз, несмотря на сугубо индивидуальный подход к женщинам и к методам воспитания маленьких мальчиков, не был чудаком. Соседи его любили и уважали, арендаторы души в нем не чаяли. Пока его не скрутил ревматизм, он охотился зимой, летом удил рыбу с небольшой лодки, которую держал на якоре в устье реки, навещал соседей, когда чувствовал к тому расположение, по воскресеньям ходил в церковь (хотя и строил мне уморительные гримасы с другого конца семейной скамьи, если проповедь слишком затягивалась) и всячески старался заразить меня своей страстью к разведению редких растений.

– Это такая же форма творения, как и все прочие, – обычно говорил он. – Некоторые мужчины пекутся о продолжении рода. А я предпочитаю растить жизнь из почвы. Это требует меньших усилий, а результат приносит гораздо большее удовлетворение.

Такие заявления шокировали моего крестного Ника Кендалла, викария Паско и других приятелей Эмброза, которые пытались убедить его взяться за ум, обзавестись семьей и растить детей, а не рододендроны.

– Одного юнца я уже вырастил, – отвечал он, трепля меня за ухо. – Он отнял у меня двадцать лет жизни, а может, и прибавил – это еще как посмотреть. Более того, Филип – готовый наследник, так что не стоит говорить, будто я пренебрегаю своим долгом. Когда придет время, он выполнит его за меня. А теперь, джентльмены, садитесь и располагайтесь поудобнее. В доме нет ни одной женщины, а посему можно класть ноги на стол и плевать на ковер.

Естественно, ничего подобного мы не делали. Эмброз отличался крайней чистоплотностью и тонким вкусом, но ему доставляло истинное удовольствие отпускать такие замечания в присутствии нового викария – бедняги, находившегося под каблуком у жены и обремененного целым выводком дочерей. По окончании воскресного обеда подавали портвейн, и мой брат, наблюдая за его круговым движением, подмигивал мне с противоположного конца стола.

Как сейчас вижу: Эмброз, полусгорбившись, полуразвалившись – эту позу я перенял у него, – сидит на стуле, сотрясаясь от беззвучного смеха, вызванного робкими увещеваниями викария, и вдруг, испугавшись, что может оскорбить его чувства, переводит разговор на предметы, доступные пониманию низенького гостя, и изо всех сил старается, чтобы тот чувствовал себя спокойно и уверенно.

Поступив в Харроу, я еще больше оценил достоинства Эмброза. Во время каникул, которые пролетали слишком быстро, я постоянно сравнивал брата и его приятелей со своими шумными однокашниками и учителями, сдержанными, холодными, чуждыми, по моим представлениям, всему человеческому.

– Ничего, ничего, – похлопывая меня по плечу, обычно говорил Эмброз, когда я, с побелевшим лицом и чуть не плача, садился в экипаж, отвозивший меня к лондонскому дилижансу. – Это всего лишь подготовка, что-то вроде объездки лошади. Потерпи. Ты и оглянуться не успеешь, как окончишь школу и я заберу тебя домой и сам займусь твоим обучением.

– Обучением – чему? – спросил я.

– Ты ведь мой наследник, не так ли? А это уже само по себе профессия.

И наш кучер Веллингтон увозил меня в Бодмин, чтобы успеть к лондонскому дилижансу. Я оборачивался в последний раз взглянуть на Эмброза. Он стоял, опершись на трость, в окружении своих собак. В уголках его глаз от искреннего сочувствия собирались морщинки; густые вьющиеся волосы начали седеть. Когда он входил в дом, свистом зовя собак, я проглатывал подступивший к горлу комок и чувствовал, как колеса кареты с фатальной неизбежностью несут меня по гравиевой дорожке парка, через белые ворота, мимо сторожки привратника, – в школу, разлучая со всем, что я так люблю.

Однако Эмброз переоценил свое здоровье, и, когда мои школьные и университетские годы остались позади, пришел его черед уезжать.

– Мне говорят, что если я проведу здесь еще одну дождливую зиму, то окончу свои дни в инвалидном кресле, – однажды сказал он мне. – Надо отправляться на поиски солнца. К берегам Испании или Египта, куда-нибудь на Средиземное море, где сухо и тепло. Не то чтобы я хотел уезжать, но, с другой стороны, будь я проклят, если соглашусь кончать жизнь инвалидом. У такого плана есть одно достоинство. Я привезу растения, каких здесь ни у кого нет. Посмотрим, как заморские чертенята зацветут на корнуэльской почве.

Пришла и ушла первая зима, за ней без особых изменений – вторая. Эмброз был доволен путешествием, и я не думаю, что он страдал от одиночества. Он привез одному богу известно сколько саженцев деревьев и кустов, цветов и других растений всевозможных форм и оттенков. Особую страсть он питал к камелиям. Мы отвели под них целую плантацию, и то ли руки у него были особенные, то ли он знал волшебное слово – не знаю, но они сразу зацвели, и мы не потеряли ни одного цветка.

Так наступила третья зима. На этот раз Эмброз решил ехать в Италию. Он хотел увидеть сады Флоренции и Рима. Зимой ни там, ни там тепла не найдешь, но Эмброза это не беспокоило. Кто-то уверил его, что воздух там будет холодный, но сухой и можно не опасаться дождя. В тот последний вечер мы разговаривали допоздна. Эмброз был не из тех, кто рано ложится спать, и мы нередко засиживались в библиотеке до часа, а то и до двух часов ночи, иногда молча, иногда беседуя, протянув к огню длинные ноги, а вокруг нас лежали свернувшиеся калачиком собаки. Я уже говорил, что у меня не было дурных предчувствий, но сейчас, возвращаясь мысленно назад, я спрашиваю себя: а не было ли их у него? Он то и дело останавливал на мне задумчивый, немного смущенный взгляд, потом переводил его на обшитые деревянными панелями стены, на знакомые картины, на камин, с камина – на спящих собак.

– Хорошо бы тебе поехать со мной, – неожиданно сказал он.

– Мне недолго собраться, – ответил я.

Он покачал головой.

– Нет, – сказал он. – Я пошутил. Нам нельзя оставить дом обоим сразу на несколько месяцев. Видишь ли, быть землевладельцем – большая ответственность, хоть и не все так думают.

– Я мог бы доехать с тобой до Рима, – сказал я, увлеченный своей идеей. – И если не помешает погода, вернуться домой к Рождеству.

– Нет, – медленно проговорил он, – нет, это просто каприз. Забудь о нем.

– Ты действительно хорошо себя чувствуешь? – спросил я. – Ничего не болит?

– Слава богу, нет, – рассмеялся Эмброз. – Уж не принимаешь ли ты меня за инвалида? Вот уже несколько месяцев у меня не было ни одного приступа ревматизма. Вся беда в том, Филип, мальчик мой, что я до смешного привязан к дому. Когда ты поживешь с мое, то, возможно, поймешь меня.

Эмброз встал со стула и подошел к окну. Он раздвинул тяжелые портьеры и несколько мгновений внимательно смотрел на лужайку под окнами. Вечер был тих и безветрен. Галки устроились на ночлег, и даже совы не нарушали тишины.

– Я рад, что мы разделались с тропинками и положили дерн вокруг дома, – сказал он. – А когда трава зазеленеет до самого выгона, будет еще красивее. Со временем тебе придется вырубить мелколесье, чтобы открыть вид на море.

– Что ты имеешь в виду? – спросил я. – Что значит мне придется? Почему не тебе?

Он ответил не сразу.

– Это одно и то же, – наконец сказал он. – Одно и то же. Какая разница? Но все же запомни. На всякий случай.

Дон, мой старый ретривер, поднял голову и посмотрел на Эмброза. Он уже видел перевязанные картонки в холле и чуял близость отъезда. Он с трудом встал с пола, подошел к Эмброзу и, опустив хвост, остановился рядом с ним. Я тихо позвал его, но пес не пошел ко мне. Я выбил в камин пепел из трубки. Часы на колокольне пробили несколько раз. Со стороны кухни донесся ворчливый голос

Сикома, отчитывающего поваренка.

– Эмброз, – сказал я, – Эмброз, разреши мне поехать с тобой.

– Не валяй дурака, Филип, и иди спать, – ответил он.

Вот и все. Больше мы не обсуждали этот вопрос. Утром, во время завтрака, Эмброз дал мне последние наставления относительно весенних посадок и разных дел, которые мне надлежало выполнить к его приезду. Ему пришла фантазия устроить лебединый пруд на заболоченном участке парка у самого начала восточной дороги к дому, и за зиму, если выдастся погода, этот участок надо было вырубить и раскорчевать. Незаметно подошло время расставания. Эмброз уезжал рано, и к семи часам мы позавтракали. Он собирался переночевать в Плимуте и с утренним приливом выйти в море. Корабль – обычное торговое судно – доставит его в Марсель, оттуда он не спеша отправится в Италию; Эмброз любил долгие морские путешествия.

Было сырое, промозглое утро. Веллингтон подал экипаж к дверям дома, и вскоре на крыше горой громоздился багаж. Лошади от нетерпения били копытами. Эмброз обернулся и положил руку мне на плечо.

– Смотри не подведи меня, – сказал он.

– Удар ниже пояса, – ответил я. – Я еще никогда не подводил тебя.

– Ты очень молод. Я возлагаю на твои плечи слишком многое. Но ведь все, что мне принадлежит, – твое. И ты это знаешь.

Думаю, что, если бы я настаивал, он разрешил бы мне ехать с ним. Но я ничего не сказал. Сиком и я усадили Эмброза со всеми его пледами и тростями в экипаж, и он улыбнулся нам из открытого окна.

– Все в порядке, Веллингтон, – сказал он. – Трогай.

И под начавшим накрапывать дождем экипаж покатил по подъездной аллее.

Неделя проходила за неделей своим чередом. Я, как всегда остро, чувствовал отсутствие Эмброза, но мне было чем занять себя. Когда мне становилось одиноко, я верхом отправлялся к моему крестному Нику Кендаллу, единственная дочь которого Луиза была на два года моложе меня. Мы с детства дружили. Она была довольно хорошенькой девушкой, серьезной и не склонной к фантазиям. Эмброз, бывало, говорил шутя, что в один прекрасный день она станет моей женой, но я, признаться, никогда не воображал ее в этой роли.

Первое письмо Эмброза пришло в середине ноября с тем же судном, которым он прибыл в Марсель. Плавание прошло без происшествий, погода была неплохая, несмотря на легкую качку в Бискайском заливе. Чувствовал он себя хорошо, настроение было отличное, и он с удовольствием предвкушал поездку в Италию. Он решил не прибегать к услугам дилижанса, чтобы не ехать вглубь материка, и нанял экипаж с лошадьми, предполагая добраться до Италии берегом, а затем повернуть к Флоренции. При этом известии Веллингтон покачал головой и предрек какой-нибудь несчастный случай. По его глубокому убеждению, ни один француз не умеет править лошадьми, а все итальянцы – разбойники. Однако Эмброз остался цел и невредим, и следующее письмо пришло из Флоренции. Я сохранил все его письма, и сейчас они лежат передо мной. Как часто читал я их в последние месяцы; подолгу держал в руках, переворачивал, перечитывал вновь и вновь, словно прикосновением можно было извлечь нечто большее, нежели то, что значили начертанные на бумаге слова.

В конце письма из Флоренции, где он, очевидно, провел Рождество, Эмброз впервые заговорил о кузине Рейчел.

«Я познакомился с нашей дальней родственницей, – писал он. – Ты, конечно, слышал от меня про Коринов, у которых было имение на берегу Теймара, давно проданное и перешедшее в другие руки. Один из Коринов два поколения назад взял в жены девушку из семьи Эшли, свидетельство чему ты можешь найти на нашем генеалогическом древе. Внучка этой четы родилась в Италии, где ее воспитали полунищий отец и мать-итальянка. В очень раннем возрасте ее выдали замуж за аристократа по фамилии Сангаллетти, который распростился с жизнью на дуэли (похоже, будучи навеселе), оставив жене кучу долгов и огромную пустую виллу. Детей нет. Графиня Сангаллетти – или, как она упорно просит называть ее, моя кузина Рейчел – здравомыслящая женщина; ее общество мне крайне приятно, и, кроме того, она взяла на себя труд показать мне сады Флоренции, а затем и Рима, поскольку мы будем там в одно и то же

время».

Я был рад, что Эмброз нашел друга, способного разделить его страсть к садам. Не зная, что собой представляет флорентийское и римское общество, я опасался, что английских знакомств у моего кузена будет немного, и вот появляется особа, чья семья родом из Корнуолла, – значит, и здесь они найдут нечто общее.

Следующее письмо почти целиком сводилось к перечню садов, которые хоть и не стояли в то время года во всей своей красе, произвели на Эмброза огромное впечатление. Такое же впечатление они производили на нашу родственницу.

«Я начинаю проникаться искренним расположением к нашей кузине Рейчел, – писал Эмброз ранней весной. – Мне становится не по себе, когда я думаю, что ей пришлось вытерпеть от этого Сангаллетти. Что ни говори, а итальянцы – вероломные мерзавцы. По своим взглядам она такая же англичанка, как ты да я, словно только вчера жила на берегу Теймара. Когда я рассказываю о наших местах, она просто не может наслушаться. Она чрезвычайно умна, но, слава богу, умеет придержать язык. Ничего похожего на обычную женскую болтовню. Во Фьезоле она нашла для меня отличные комнаты недалеко от своей виллы, и, когда станет тепло, я буду проводить большую часть времени у нее, сидя на террасе или слоняясь по саду. Кажется, он знаменит своей планировкой и скульптурами, в чем я не очень разбираюсь. Не знаю, на какие средства она живет, но догадываюсь, что ей пришлось продать много ценных вещей с виллы, чтобы расплатиться с долгами мужа».

Я спросил моего крестного Ника Кендалла, помнит ли он Коринов. Он их помнил, но мнения о них был весьма невысокого.

– Я тогда был мальчишкой. Никчемная компания, – сказал он. – Проиграли в карты все свои деньги и имения. Их дом на Теймаре не лучше развалившейся фермы. Лет сорок как пришел в полное запустение. Должно быть, отец этой женщины – Александр Корин; если не ошибаюсь, он отправился на континент, и с тех пор о нем никто не слыхал. Он был вторым сыном второго сына. Правда, не знаю, что с ним сталось потом. Эмброз пишет о возрасте графини?

– Нет, – ответил я, – только то, что она очень молодой вышла замуж, но когда – не пишет. Думаю, она средних лет.

– Должно быть, она очень хороша, раз мистер Эшли обратил на нее внимание, – заметила Луиза. – Я никогда не слышала, чтобы он восхищался хоть одной женщиной.

– Вероятно, она некрасива и скромна, – сказал я, – и он не чувствует себя вынужденным говорить ей комплименты. Я в восторге.

Пришло еще несколько писем, достаточно бессвязных, без особых новостей.

Он только что вернулся с обеда у нашей кузины Рейчел или отправлялся к ней на обед. Как мало, писал он, среди ее друзей во Флоренции людей, которые могут помочь ей искренним, незаинтересованным советом. Он тешил себя надеждой – и писал об этом, – что может подать ей такой совет. И как же она была ему благодарна… У нее не было ничего общего с Сангаллетти, и она признавалась, что всю жизнь мечтала иметь друзей-англичан. «У меня такое чувство, – писал он, – что, кроме сотен новых растений, которые я привезу домой, я приобрел что-то еще».

Прошло некоторое время. Он не написал, когда собирается вернуться; обычно это бывало ближе к концу апреля. Зима, казалось, не спешила уходить, и морозы, редкие в наших западных краях, были на удивление сильные. Они побили несколько молодых камелий Эмброза, и я надеялся, что он вернется не слишком рано и не застанет пронизывающих ветров и затяжных дождей.

Вскоре после Пасхи от него пришло письмо.

«Мой дорогой мальчик, – писал Эмброз, – тебя удивляет мое молчание? Откровенно говоря, я никогда не думал, что придет день и я напишу тебе такое письмо. Пути Господни неисповедимы. Мы всегда были так близки с тобой, и ты, наверное, догадался, какое смятение царило в моей душе последние недели. Смятение не совсем точное слово. Скорее – радостное замешательство, которое превратилось в уверенность. Я не принимал скоропалительных решений. Как тебе известно, я слишком дорожу своими привычками, чтобы менять образ жизни ради мимолетной прихоти. Я нашел нечто такое, чего никогда прежде не

находил и даже не думал, что оно существует. Мне все еще не верится, что это случилось. Мысли мои часто обращались к тебе, и тем не менее до сегодняшнего утра я не чувствовал в себе достаточно сил и душевного спокойствия, чтобы писать. Ты должен знать, что твоя кузина Рейчел и я две недели назад стали мужем и женой. Сейчас мы проводим медовый месяц в Неаполе и намерены вскоре вернуться во Флоренцию. В более отдаленное будущее я не заглядываю. Мы не строили никаких планов, и пока их нет ни у нее, ни у меня.

Скоро, Филип, надеюсь, что теперь уже совсем скоро, ты узнаешь ее. Если бы я не боялся утомить тебя, то мог бы описать ее, мог бы рассказать о ее доброте, о ее искренней, заботливой нежности. Не могу сказать, почему среди всех она выбрала именно меня – сварливого, циничного женоненавистника, если возможно подобное сочетание. По этому поводу она часто подтрунивает надо мной, и я признаю свое поражение. Быть побежденным такой женщиной, как она, – в известном смысле победа. И я мог бы назвать себя победителем, а не побежденным, если бы не боялся показаться слишком самоуверенным.

Сообщи всем эту новость, передай им мои приветы, а также приветы Рейчел и запомни, мой дорогой, любимый мальчик, что этот брак, поздний брак, не только ни на йоту не уменьшит моей глубокой любви к тебе, но, напротив, усилит ее; теперь, когда я чувствую себя счастливейшим из людей, я сумею сделать для тебя больше, чем прежде, и Рейчел мне поможет. Поскорее напиши мне и, если можешь, прибавь несколько слов привета для своей кузины Рейчел.

Всегда преданный тебе

Эмброз».

Письмо пришло около половины шестого, я только что пообедал. Сиком принес почтовую сумку и оставил ее мне. Я положил письмо в карман, вышел из дома и зашагал через поле к морю. Племянник Сикома, державший на берегу небольшую коптильню, поздоровался со мной. Он развесил рыболовные сети, и они сохли на каменной стене под последними лучами заходящего солнца. Я едва ответил ему, и он, наверное, счел меня грубияном. Я перебрался через скалы на узкий риф, выдававшийся в маленькую бухту, в которой я часто плавал летом. Эмброз обычно бросал якорь ярдах в пятидесяти от берега, и я доплывал до его лодки. Я сел, вынул письмо и перечитал его. Если бы я мог ощутить хоть малую толику, проблеск радости за тех двоих, что делили общее счастье в далеком Неаполе, совесть моя была бы спокойна. Стыдясь за самого себя, проклиная

собственный эгоизм, я не мог пробудить в своем сердце хоть сколько-нибудь теплого чувства. Оцепенев от горя, я сидел и не сводил глаз с гладкого, спокойного моря. Недавно мне исполнилось двадцать три года, и тем не менее я чувствовал себя таким же одиноким и растерянным, как в те давние дни, когда сидел на скамье четвертого класса Харроу, без друзей, готовых утешить меня, а впереди открывался мир новых, незнакомых переживаний, входить в который я не хотел и страшился.

Глава 3

Особенно стыдно мне было из-за восторга его друзей, их неподдельной радости и искренней заботы о его благополучии. На меня обрушился целый поток поздравлений – с явным расчетом, что они будут переданы Эмброзу; отвечая на них, я должен был улыбаться, кивать головой и делать вид, будто давно знал, что это случится. Я чувствовал себя лицемером, предателем. Эмброз воспитал во мне отвращение к притворству – как в человеке, так и в животном, и сознание того, что сам я притворяюсь, доводило меня до исступления.

«Лучшего не придумаешь». Как часто слышал я эти слова и должен был вторить им! Я стал избегать соседей и, не желая постоянно видеть любопытные лица и терпеть утомительную болтовню, отсиживался дома или бродил по лесу. Но если я объезжал имение или отправлялся в город, спасения не было. Стоило кому-нибудь из наших арендаторов или знакомых хотя бы издали заметить меня, как я был обречен на бесконечные разговоры. Словно посредственный актер, я с усилием изображал улыбку и, чувствуя, как напрягается кожа на лице, протестуя против насилия, был вынужден отвечать на вопросы с той ненавистной мне сердечностью, какую в обществе ожидают от нас, если речь заходит о свадьбе. «Когда они собираются домой?» Ответ всегда был один: «Не знаю. Эмброз не написал».

Высказывались всевозможные домыслы относительно внешности, фигуры, возраста новобрачной, на что я неизменно отвечал: «Она вдова и тоже любит сады».

Все кивали головой – очень подходит, лучшего и желать нельзя, как раз для Эмброза. Затем следовали шутки, остроты и бурное веселье по поводу того, что

на такого убежденного холостяка надели супружеский хомут.

Сварливая миссис Паско, жена викария, назойливо возвращалась к злосчастной теме, будто брала реванш за прошлые оскорбления, нанесенные священному институту брака.

– Вот уж теперь-то, мастер Филип, все изменится, – говорила она при каждом удобном случае. – Теперь в вашем доме все будут ходить по струнке. И хорошо. Очень хорошо, скажу я вам. Хоть слуг наконец приучат к порядку. Вряд ли Сикому это понравится, уж слишком долго он делал все по-своему.

В этом она была права. Думаю, Сиком был моим единственным союзником, но я не признавался в том и остановил старика, когда тот попробовал выведать мое отношение к случившемуся.

– Не знаю, что и сказать, мастер Филип, – мрачно и как бы смиренно пробормотал он. – Хозяйка все в доме перевернет вверх дном, и мы не будем знать, на каком мы свете. Сперва одно, потом другое; чего доброго, ей и не угодишь. Пожалуй, пора мне уходить на покой и уступить место кому-нибудь помоложе. Вам бы не мешало упомянуть об этом мистеру Эмброзу, когда будете ему писать.

Я сказал, чтобы он не говорил глупостей, что Эмброз и я пропадем без него, но он покачал головой и продолжал ходить по дому с вытянутым лицом, не упуская возможности намекнуть на невеселое будущее: что и время завтрака, обеда и ужина обязательно поменяют, и мебель заменят, и велят без конца убирать в доме, не давая никому ни минуты роздыха, и – как последний удар – даже бедных собак прикажут уничтожить. Подобные предсказания, произнесенные замогильным тоном, отчасти вернули мне утраченное было чувство юмора, и я рассмеялся – впервые с тех пор, как прочел последнее письмо Эмброза.

Ну и картину изобразил Сиком! Я представил себе целый полк горничных, которые, вооружась швабрами, обметают по всему дому паутину, а старый дворецкий, выпятив, по своему обыкновению, нижнюю губу, с ледяной миной наблюдает за ними! Его уныние меня забавляло, но когда нечто похожее предсказывали другие – даже Луиза Кендалл, которая по старой дружбе могла бы проявить больше проницательности и придержать язык, – то их замечания вызывали во мне глухое раздражение.

– Слава богу, теперь в вашей библиотеке сменят обивку, – весело сказала Луиза. – Она совсем потускнела и протерлась от старости, но вы, смею сказать, этого и не замечали. А цветы в доме – какая прелесть! Гостиная наконец приобретет нормальный вид. Я всегда считала, что не пользоваться ею – настоящее расточительство. Миссис Эшли, конечно же, украсит ее книгами и картинами со своей итальянской виллы.

Она все болтала и болтала, перечисляя бесконечные усовершенствования, пока я не потерял терпение и не сказал ей довольно грубо:

– Ради бога, Луиза, перестань. Надоело.

Она замолкла и проницательно взглянула на меня.

– Ты, случайно, не ревнуешь? – спросила она.

– Не говори глупостей, – ответил я.

Я поступил скверно, но мы настолько хорошо знали друг друга, что я смотрел на нее как на младшую сестру и обращался с ней без особой почтительности.

Она умолкла, и с тех пор я стал замечать, что, когда во время общего разговора речь заходила о женитьбе Эмброза, она бросала на меня быстрый взгляд и старалась сменить тему. Я был благодарен Луизе, и мое отношение к ней стало еще теплее.

Последний удар, разумеется нечаянно, нанес мой крестный и ее отец – Ник Кендалл.

– У тебя уже есть какие-нибудь планы на будущее, Филип? – спросил он однажды вечером, когда я приехал к ним обедать.

– Планы, сэр? Нет, – ответил я, не совсем уловив смысл вопроса.

– Впрочем, еще рано, – сказал он. – К тому же, я полагаю, следует дождаться возвращения Эмброза и его жены. Меня интересует, не решил ли ты присмотреть для себя небольшой кусок земли в округе.

Я не сразу понял, что он имеет в виду.

– А зачем? – спросил я.

– Но ведь дела приняли несколько иной оборот, не правда ли? – заметил он, будто говорил о чем-то решенном. – Вполне естественно, что Эмброз и его жена захотят быть вместе. И если будут дети, сын, то это отразится на твоем положении. Я уверен, Эмброз не допустит, чтобы ты пострадал из-за перемены в его жизни, и купит тебе любой участок. Конечно, не исключено, что у них не будет детей, но, с другой стороны, для подобных предположений нет никаких причин. Ты мог бы заняться строительством. Иногда строительство собственного дома приносит гораздо большее удовлетворение, чем покупка готового.

Он продолжал говорить, называя подходящие участки в радиусе миль двадцати от нашего дома, и я был благодарен ему за то, что он, казалось, не ждал ответа. Не скрою, сердце мое было переполнено, и я ничего не мог сказать крестному. То, что он предлагал, было так неожиданно, что я не мог собраться с мыслями и вскоре извинился и уехал. Да, я ревновал. Пожалуй, Луиза была права. Ревновал, как ребенок, который должен делить с посторонним того единственного, кто есть у него в жизни. Подобно Сикому, я представлял себе, как изо всех сил стараюсь освоиться с новым, стесняющим меня образом жизни. Как выбиваю трубку, встаю со стула, предпринимаю неуклюжие попытки участвовать в разговоре, приучаю себя к чопорности и скуке женского общества; как, видя, что Эмброз, мой бог, ведет себя словно последний простофиля, в отчаянии выхожу из комнаты. Но я никогда не представлял себя отверженным, выставленным из дома и живущим на содержании, как отставной слуга. Появится ребенок, который будет называть Эмброза отцом, и я стану лишним.

Если бы мое внимание на эту возможность обратила миссис Паско, я бы объяснил ее слова злопыхательством и забыл о них. Иное дело, когда такое заявляет мой тихий, спокойный крестный. Домой я возвращался в сомнениях и печали. Я не знал, что делать, как поступить. Строить планы на будущее, как советовал крестный? Найти себе дом? Готовиться к отъезду? Я хотел жить только там, где живу, владеть только той землей, какою владею. Эмброз вырастил меня на ней и для нее. Она была моей. Она была его. Она принадлежала нам обоим. Теперь уже нет. Все изменилось. Помню, как, вернувшись от Кендаллов, я бродил по дому, глядя на все новыми глазами, и собаки, заразившись моим возбуждением, не отставали от меня ни на шаг. Моя

старая, заброшенная детская, куда лишь недавно каждую неделю стала приходить племянница Сикома, чтобы разбирать и чинить белье, обрела для меня новое значение. Я представил себе, что ее заново выкрасили, а маленькую биту для крикета, которая все еще стояла, покрытая паутиной, на полке между стопками пыльных книг, выкинули на помойку. Примерно раз в два месяца наведываясь туда забрать починенную рубашку или заштопанные носки, я никогда не задумывался над тем, с какими воспоминаниями связана для меня эта комната. Теперь же мне захотелось вернуть ее и уединиться там от всего мира. Но она станет совершенно чуждой мне: душной, с запахом кипяченого молока и сохнущих одеял, как комнаты в домах арендаторов, когда там есть маленькие дети. Я зримо представлял себе, как они, вопя, ползают по полу, ударяясь обо все головой, расшибая локти, или, что еще хуже, лезут к вам на колени и по-обезьяньи гримасничают, если им этого не разрешают. Боже, неужели все это ждет Эмброза?!

До сих пор, думая о моей кузине Рейчел, что случалось довольно редко, ибо я гнал от себя ее имя, как гонят неприятные мысли, я рисовал себе женщину, похожую на миссис Паско, но еще менее симпатичную. С крупными чертами лица, костлявой фигурой, ястребиными глазами, от которых, как предсказывал Сиком, не укроется ни пылинки, с чересчур громким и резким смехом, настолько резким, что приглашенные к обеду вздрагивают и бросают на Эмброза сочувственные взгляды. Теперь же ее облик изменился, и она представлялась мне то уродом, вроде несчастной Молли Бейт из Уэст-Лоджа, при виде которой люди вежливо отводят глаза, то калекой без кровинки в лице: она сидит под ворохом шалей, болезненно раздражительная и вечно недовольная сиделкой, которая в нескольких шагах от нее помешивает ложечкой лекарство. То средних лет, решительная, то жеманная и моложе Луизы – моя кузина Рейчел имела множество обликов, один отвратительней другого. Я видел, как она заставляет Эмброза опуститься на колени, чтобы играть в медведей, как дети забираются на него верхом и он, покорно уступая, теряет все свое достоинство. Или как, вырядившись в кисейное платье, с лентой в волосах, она капризно встряхивает локонами, а Эмброз, откинувшись на спинку стула, рассматривает ее с идиотской улыбкой.

В середине мая пришло письмо, в котором сообщалось, что они все же решили остаться на лето за границей. Я едва не вскрикнул от облегчения. Я больше прежнего чувствовал себя предателем, но ничего не мог с собой поделать.

«Твоя кузина Рейчел еще не разобралась с делами, которые необходимо уладить до отъезда в Англию, – писал Эмброз. – Поэтому мы решили – можешь себе представить, как это нас огорчает, – на время отложить возвращение домой. Я делаю все, что могу, но итальянские законы не наши, и примирить те и другие – не так-то просто. Мне приходится тратить уйму денег, но дело стоит того, и я не сетую. Мы часто говорим о тебе, дорогой мальчик. Как бы я хотел, чтобы ты был сейчас с нами!» Далее он задавал вопросы о работах в имении, ко всему проявляя всегдашний горячий интерес; и я подумал, что, должно быть, сошел с ума, если хоть на минуту предположил, будто он может измениться.

Все соседи, конечно, были очень разочарованы, когда узнали, что лето молодые проведут не дома.

– Возможно, – сказала миссис Паско с многозначительной улыбкой, – состояние здоровья миссис Эшли не позволяет ей путешествовать?

– Ничего не могу вам сказать, – ответил я. – Эмброз упомянул в письме, что они провели неделю в Венеции и оба вернулись с ревматизмом.

У миссис Паско вытянулось лицо.

– Ревматизм? И у нее тоже? – проговорила она. – Какое несчастье! – И задумчиво добавила: – Видимо, она старше, чем я думала.

Простая женщина, ее мысли имели только одно направление. В двухлетнем возрасте у меня были ревматические боли в коленях. От роста – говорили мне старшие. Иногда после дождя я и сейчас их чувствую. И все же мы подумали об одном.

Моя кузина Рейчел постарела лет на двадцать. У нее снова были седые волосы, она даже опиралась на палку. Я увидел ее не тогда, когда она ухаживала за розами в своем итальянском саду, представить который у меня не хватало фантазии; постукивая палкой по полу, она сидела за столом в окружении юристов, лопочущих по-итальянски, а мой бедный Эмброз терпеливо сидел рядом с ней.

Почему он не приехал домой и не оставил ее заниматься делами? Однако настроение мое улучшилось, как только желанная новобрачная уступила место

стареющей матроне с прострелами в наиболее чувствительных местах. Детская отступила на второй план; я видел гостиную, превратившуюся в заставленный ширмами будуар, где даже в середине лета жарко пылает камин, и слышал, как кто-то раздраженно велит Сикому принести угля – в комнате страшные сквозняки. Я снова принялся петь в седле, травил собаками кроликов, купался перед завтраком, ходил под парусом в лодчонке Эмброза, когда позволял ветер, и перед отъездом Луизы в Лондон, где она собиралась провести сезон, доводил ее до слез шутками о столичных модах. В двадцать три года для хорошего настроения надо не так уж много. Мой дом принадлежал мне, никто его не отнимал.

Затем тон писем Эмброза изменился. Сперва я почти ничего не заметил, но, перечитывая их, в каждом слове все явственней улавливал странное напряжение, в каждой фразе – скрытую тревогу, мало-помалу проникающую в его душу. Я понимал, что в какой-то мере это объясняется ностальгией по дому, тоской по родным местам и привычному укладу жизни, но меня поражало ощущение одиночества, тем более непонятное в человеке, который женился всего десять месяцев назад. Эмброз писал, что долгое лето и осень были очень утомительны, зима наступила необычно душная. Несмотря на то что на вилле высокие потолки, дышать совершенно нечем, и он бродит из комнаты в комнату, словно собака перед грозой, но грозы все нет и нет. Воздух не становится свежее, и он готов душу отдать за проливной дождь, хоть он и вызывает новые приступы болезни. «Я никогда не страдал головной болью, – писал он, – но теперь она часто докучает мне. Порою она просто нестерпима. Солнце мне до смерти надоело. Мне страшно не хватает тебя. О многом надо поговорить, а в письме всего не скажешь. Моя жена сегодня в городе, вот мне и выпала возможность написать тебе». Здесь он впервые употребил слова «моя жена». Раньше он всегда говорил «Рейчел» или «твоя кузина Рейчел», поэтому слова «моя жена» показались мне слишком официальными и холодными.

В письмах, которые я получил от Эмброза в ту зиму, о возвращении домой речи не было, но он очень хотел узнать последние новости; он отзывался на каждый пустяк в моих письмах, словно ничто другое его не интересовало.

Прошла Пасха, Троица – никаких вестей, и я начал беспокоиться. Своими опасениями я поделился с крестным, но тот сказал, что почта, конечно, задерживается из-за погоды. Сообщали, что в Европе выпал поздний снег, и я мог ожидать писем из Флоренции не раньше конца мая. Прошло больше года, как Эмброз женился, и полтора года, как уехал. Чувство облегчения, которое я

испытал, узнав, что его приезд с молодой женой откладывается, сменилось страхом, что он вообще не вернется. Очевидно, первое лето, проведенное в Италии, подвергло его здоровье серьезному испытанию. А как повлияет на него второе? Наконец в июле пришло письмо – короткое, бессвязное, абсолютно на Эмброза не похожее. Даже буквы, обычно такие четкие и разборчивые, расползались по странице, как будто писавший с трудом держал перо. «Дела мои плохи, – писал Эмброз, – о чем ты, наверное, догадался по моему последнему письму. Но никому не говори об этом. Она следит за мной. Я несколько раз писал тебе, но мне здесь некому довериться, и если не удастся самому отправить письма, то они могут не дойти до тебя. Из-за болезни я не в состоянии далеко ходить пешком. Что до врачей, я не верю никому из них. Они все до единого лжецы и обманщики. Новый врач, которого рекомендовал Райнальди, настоящий головорез из той же банды. Однако со мной они напрасно связались, и я их одолею». Далее следовал пропуск и после неразборчивых каракулей, которые я так и не сумел расшифровать, – подпись Эмброза.

Я велел груму оседлать коня и поскакал к крестному показать письмо. Он встревожился не меньше меня.

– Похоже на нервное расстройство, – сказал он после довольно долгого молчания. – Мне это совсем не нравится. Это не мог написать человек в здравом рассудке. Я очень надеюсь…

Крестный замолк и поджал губы.

– Надеетесь… на что? – спросил я.

– Твой дядя Филип, отец Эмброза, умер от опухоли мозга. Разве ты не знал? – коротко сказал он.

Я ответил, что никогда не слышал, от чего умер мой дядя.

– Тебя, разумеется, тогда еще не было на свете, – заметил крестный. – В семье избегали этой темы. Передаются такие вещи по наследству или нет – не могу сказать, да и врачи не могут. Медицина еще недостаточно развита.

Он надел очки и перечитал письмо.

– Может быть, правда, и другая причина – крайне маловероятная, но я предпочел бы именно ее, – сказал он.

– И какая же?

– Да та, что Эмброз был пьян, когда писал это письмо.

Не будь ему за шестьдесят и не будь он моим крестным, я бы ударил его за такое предположение.

– Я ни разу в жизни не видел Эмброза пьяным, – сказал я.

– Я тоже, – сухо заметил он. – Но из двух зол я выбрал бы меньшее. Думаю, тебе следует поехать в Италию.

– Я и сам так решил, – ответил я.

И я отправился домой, не имея ни малейшего представления, как все это будет. Из Плимута не отплывало ни одно судно, услугами которого я мог бы воспользоваться. Мне предстояло ехать в Лондон, оттуда в Дувр, там сесть на пакетбот до Булони, а затем через Францию добираться до Италии дилижансом. Если поспешить с отъездом, можно попасть во Флоренцию недели через три. Французский язык я знал довольно плохо, итальянского не знал совсем, но ни то, ни другое меня не тревожило, лишь бы добраться до Эмброза. Я наскоро попрощался с Сикомом и слугами, объяснив, что решил срочно навестить их хозяина, но ни словом не обмолвившись о его болезни, и прекрасным июльским утром выехал в Лондон, с невеселыми мыслями о почти трехнедельном путешествии по незнакомой стране.

Экипаж уже свернул на бодминскую дорогу, когда я увидел грума, который ехал нам навстречу с почтовой сумкой за поясом. Я велел Веллингтону придержать лошадей, и мальчик протянул мне сумку. Вероятность найти в ней письмо от Эмброза равнялась одному шансу из тысячи, но этот единственный шанс перевесил. Я достал конверт из сумки и отослал грума домой. Веллингтон взмахнул кнутом, а я вынул из конверта клочок бумаги и поднес его к окошку, чтобы лучше видеть. Слова были настолько неразборчивы, что я с трудом прочел их.

«Ради бога, приезжай скорее. Она все же доконала меня, Рейчел, мука моя. Если ты промедлишь, может быть слишком поздно.

Эмброз».

И все. На письме не было даты, на конверте, запечатанном перстнем Эмброза, никаких пометок, указывающих на время отправления.

С обрывком бумаги в руке я сидел в экипаже, сознавая, что никакая сила, земная или небесная, не доставит меня к нему раньше середины августа.

Глава 4

Наконец почтовая карета привезла меня и еще нескольких пассажиров во Флоренцию, и мы вышли у гостиницы на берегу Арно. У меня было такое чувство, будто я провел в дороге целую вечность. Было пятнадцатое августа. Ни на одного путешественника, когда-либо ступавшего на землю Европейского континента, он не произвел меньшего впечатления, чем на меня. Дороги, по которым мы ехали, горы, долины, города, как французские, так и итальянские, где мы останавливались на ночлег, казались мне похожими друг на друга. Везде была грязь, гостиницы кишмя кишели насекомыми, и я едва не оглох от шума. Привыкнув к тишине пустого дома – слуги спали в своих комнатах под часовой башней, – где по ночам слышался только шум ветра в деревьях да стук дождя, когда с юго-запада нагоняло тучи, я не мог освоиться с гомоном и суматохой иностранных городов, и они приводили меня в состояние, близкое к отупению.

Я спал, да, – кто не спит в двадцать четыре года после долгой, утомительной дороги? – но в мои сны вторгались чужие, непривычные звуки: хлопанье дверей, визг, шаги под окнами, стук колес по булыжной мостовой и повторяющийся каждые четверть часа звон церковного колокола. Возможно, окажись я за границей с другой целью, все было бы иначе. Тогда, может быть, я с легким сердцем открывал бы рано утром окно, разглядывал бы босоногих детей, играющих в сточной канаве, бросал бы им монеты, как зачарованный прислушивался бы к новым для себя голосам и звукам, бродил бы ночами по

узким улочкам и со временем полюбил бы их. Теперь же я на все смотрел равнодушно, а то и враждебно. Меня привела сюда необходимость найти Эмброза.

Он болен – болезнь сразила его в чужой стране; одного этого было достаточно, чтобы тревога вызвала во мне отвращение ко всему, связанному с этой страной, к самой ее земле.

С каждым днем становилось все жарче. Лазурное небо слепило глаза; карета бесконечно петляла по пыльным дорогам Тосканы, и мне казалось, что солнце выпило всю влагу из земли. Долины побурели от зноя; маленькие, опаленные солнцем деревни желтыми пятнами лепились по склонам холмов, плавающих в раскаленном мареве. Тощие, костлявые волы понуро бродили в поисках воды, по обочинам дороги щипали траву облезлые козы, которых пасли ребятишки, провожавшие дилижанс пронзительными криками, и мне, объятому тревогой и страхом за Эмброза, казалось, что в этой стране все живое страдает от жажды и, если не найдет глотка воды, погибает.

Выйдя из дилижанса во Флоренции, я, движимый природным инстинктом, не стал дожидаться, пока сгрузят и отнесут в гостиницу мой пропыленный багаж, пересек мощенную булыжником улицу и остановился у реки. Я был измучен долгим путешествием и с головы до пят покрыт дорожной пылью. Два последних дня я сидел рядом с кучером, чтобы не задохнуться внутри, и, как те несчастные животные у дороги, стремился к воде. И вот она передо мной. Но не прозрачно-голубая бухта моих родных мест, подернутая зыбью, солоновато-прохладная, искрящаяся брызгами под легкими порывами морского ветра, а неторопливый, набухший поток, бурый, как речное дно; он медленно и будто с трудом прокладывал себе путь под сводами моста, и время от времени его ровная, глянцевая поверхность вздувалась пузырями. По реке плыли всевозможные отбросы, пучки соломы, трава, листья, и тем не менее мое воспаленное от усталости и жажды воображение рисовало нечто такое, что можно испробовать, проглотить, выпить залпом, как выпивают яд.

Словно зачарованный, смотрел я на текущую у моих ног воду; беспощадные лучи солнца заливали мост, и вдруг у меня за спиной гулко, торжественно прозвучали четыре удара огромного колокола. К нему присоединились колокола других церквей, и звон их слился с шумом реки, особенно громким в тех местах, где она, бурая от ила, перекатывалась через камни.

Рядом со мной стояла женщина с хнычущим ребенком на руках, второй малыш дергал ее за рваную юбку. Она тянула руку за подаянием, с мольбой подняв на меня свои темные глаза. Я дал ей монету и отвернулся, но она, что-то бормоча, продолжала трогать меня за локоть, пока один из пассажиров, все еще стоявший около почтовой кареты, не выпустил в нее целый заряд по-итальянски; она отпрянула от меня и возвратилась на угол моста. Она была молода, не старше девятнадцати лет, но на лице ее застыла печать вечности, тревожащая память, словно в ее гибком теле обитала древняя как мир, неумирающая душа; тьма времен смотрела из этих глаз, они так долго созерцали жизнь, что стали равнодушны к ней. Немного позже, когда я поднялся в свою комнату и вышел на маленький балкон над площадью, я увидел, как она протиснулась между лошадьми и экипажами и притаилась, словно кошка, которая крадется в ночи, припадая к земле.

Я вымылся и переоделся, ощущая полную апатию. Теперь, когда я достиг цели путешествия, душу мою сковало тупое безразличие; того, кто отправился в путь взволнованным, настроенным на самый решительный лад, готовым к любому сражению, более не существовало. Его место занял усталый, павший духом незнакомец. Волнение давно улеглось. Даже истертая записка в моем кармане утратила реальный смысл. Она была написана несколько недель назад, с тех пор могло многое случиться. Возможно, Рейчел увезла Эмброза из Флоренции, возможно, они отправились в Рим, в Венецию, и я уже видел, как все в том же душном, неуклюжем дилижансе тащусь вслед за ними. Переезжаю из города в город, вдоль и поперек пересекаю эту проклятую страну и, нигде их не находя, терплю поражение за поражением в схватке со временем и пыльными раскаленными дорогами.

К тому же, возможно, вся эта история – просто ошибка. Возможно, письма-каракули просто нелепая шутка: Эмброз их так любил в годы моего детства, и я часто попадал в расставленные им ловушки. Возможно, на вилле я застану в самом разгаре званый обед или какое-нибудь торжество: множество гостей, огни, музыку… Когда меня введут в залу, я ничего не смогу объяснить, и Эмброз, живой и здоровый, с удивлением воззрится на меня.

Я спустился вниз и вышел на площадь. Кареты, которые совсем недавно стояли вдоль тротуаров, разъехались. Сиеста закончилась, и на улицах снова бурлили толпы народа. Я нырнул в них и сразу затерялся. Меня окружали темные дворики, переулки, высокие, подпирающие друг друга дома, балконы. Я шел вперед, сворачивал, снова шел, а люди, стоявшие в дверях или проходившие

мимо, замирали и обращали ко мне лица – с тем же выражением древнего как мир страдания и давно перегоревшей страсти, которое я впервые заметил в лице нищенки. Некоторые шли за мной, как и она, бормоча и протягивая руку, но, когда, вспомнив своего попутчика, я грубо отгонял их, отставали, прижимались к стенам высоких домов и провожали меня взглядом, исполненным странной тлеющей гордости. Снова призывно зазвонили колокола, и я вышел на огромную площадь, где собралось множество людей; разбившись на группы, они разговаривали, жестикулировали, и мне, чужестранцу, казалось, что у них нет ничего общего ни со зданиями, обрамляющими площадь, строгими и прекрасными, ни со статуями, безучастно взирающими на них своими незрячими глазами, ни даже с колокольным звоном, который громким пророческим эхом летит в небо.

Я подозвал проезжавшую карету и неуверенно сказал: «Вилла Сангаллетти». Я не понял, что ответил кучер, но уловил слово «Фьезоле», когда он кивнул и показал кнутом в сторону. Мы ехали по узким, забитым толпою улицам; он покрикивал на лошадь, щелкали вожжи, и люди расступались, давая дорогу карете. Колокола смолкли и замерли вдали, но их отголосок все еще звучал у меня в ушах: торжественные, величавые, они звонили не по моей миссии, мелкой, ничтожной, не по жизни людей на улицах, но по душам давно умерших мужчин и женщин, по вечности.

Мы поднялись по длинной извилистой дороге, идущей к далеким горам, и Флоренция осталась позади. Дома отступили. Всюду царили покой и тишина; горячее яркое солнце, которое весь день палило над городом, превращая небо в расплавленное стекло, вдруг стало мягким и ласковым. Ослепительное сияние померкло. Желтые дома, желтые стены, даже бурая пыль перестали источать жар. Дома вновь обрели цвет – возможно, блеклый, приглушенный, но в отсветах истощившего силу солнца – более нежный и приятный для глаз. Стройные неподвижные кипарисы стали чернильно-зелеными.

Возница остановил экипаж у закрытых ворот в длинной высокой стене, повернулся на козлах и через плечо сверху вниз посмотрел на меня. «Вилла Сангаллетти», – сказал он. Мое путешествие закончилось.

Я зна?ком попросил его подождать. Вышел из экипажа и, подойдя к воротам, дернул шнурок колокольчика. За воротами раздался звон. Мой возница отвел лошадь к обочине дороги, сошел с козел и, стоя у канавы, отгонял шляпой мух. Лошадь, бедная заморенная кляча, поникла в оглоблях; после подъема у нее не

осталось сил даже на то, чтобы щипать траву на обочине, и она дремала, время от времени прядая ушами. Из-за ворот не доносилось ни звука, и я снова позвонил. На этот раз послышался приглушенный собачий лай; он усилился, когда открылась какая-то дверь; раздраженный женский голос резко оборвал капризный детский плач, и мой слух уловил звук шагов, приближающихся к воротам с противоположной стороны. Лязг отодвигаемых засовов, скрежет железа о камни – и ворота открылись. Меня внимательно разглядывала женщина в крестьянской одежде. Подойдя к ней, я спросил: «Вилла Сангаллетти? Синьор Эшли?»

Собака, сидевшая на цепи в сторожке, где жила женщина, залаяла еще громче. Передо мной лежала аллея, в конце которой я увидел саму виллу, безжизненную, с закрытыми ставнями. Женщина сделала движение, словно собираясь захлопнуть передо мною ворота, собака продолжала лаять, ребенок снова заплакал. Щека женщины отекла и распухла, как будто у нее болели зубы, и, чтобы унять боль, она прижимала к ней край шали.

Я протиснулся за ней и повторил: «Синьор Эшли». Она вздрогнула, словно впервые увидела мое лицо, и возбужденно заговорила, указывая на виллу. Затем быстро повернулась и позвала кого-то из сторожки. В открытой двери показался мужчина с ребенком на плече – очевидно, ее муж. Он унял собаку, на ходу задавая вопросы жене. В стремительном потоке слов, который она обрушила на мужа, я уловил слово «Эшли», затем «англичанин», и теперь уже он вздрогнул и во все глаза уставился на меня. Мужчина выглядел более прилично – он был опрятнее, у него были честные глаза, и, как только он взглянул на меня, на его лице появилось выражение искреннего участия. Он что-то шепнул жене, и она вместе с ребенком отошла к двери сторожки и оттуда смотрела на нас, по-прежнему прижимая шаль к распухшему лицу.

– Я говорю немного по-английски, – сказал он. – Могу я вам помочь?

– Я приехал повидаться с мистером Эшли, – сказал я. – Он и миссис Эшли на вилле?

На лице мужчины отразилось еще большее сочувствие. Он нервно сглотнул.

– Синьор – сын мистера Эшли? – спросил он.

– Нет, – нетерпеливо ответил я, – его двоюродный брат. Они дома?

Он сокрушенно покачал головой:

– Значит, вы приехали из Англии, синьор, и еще ничего не знаете? Что я могу сказать? Это очень печально, не знаю, что и сказать… Синьор Эшли… он умер три недели назад… Совсем неожиданно. Очень печально. Как только его похоронили, графиня заперла виллу и уехала. Не знаем, вернется ли она.

Собака снова залаяла, и он отвернулся успокоить ее.

Я чувствовал, как кровь отлила у меня от лица. Я был потрясен. Мужчина с участием смотрел на меня, затем сказал несколько слов жене, та принесла скамейку и поставила ее возле меня.

– Сядьте, синьор, – сказал мужчина. – Мне жаль. Очень-очень жаль.

Я покачал головой. Говорить я не мог. Да и сказать мне было нечего. Мужчина, чтобы облегчить душу, грубо прикрикнул на жену и снова повернулся ко мне.

– Синьор, – сказал он, – если вы хотите пройти на виллу, я вам ее открою. Вы можете посмотреть, где умер синьор Эшли.

Мне было все равно, куда идти, что делать. Я оцепенел и не мог сосредоточиться. Вынимая из карманов ключи, мужчина пошел по аллее; я шел рядом с ним, чувствуя, что ноги мои внезапно налились свинцовой тяжестью. Женщина и ребенок плелись следом.

Кипарисы сомкнулись вокруг нас, вилла с закрытыми ставнями, похожая на гробницу, ждала в конце дороги. Когда мы подошли ближе, я увидел большое здание с многочисленными окнами, частью слепыми, частью наглухо закрытыми. Перед входом деревья расступались, образуя круг, чтобы экипажам было где развернуться. Между мрачными кипарисами стояли статуи на пьедесталах. Мужчина отпер ключом огромную дверь и жестом пригласил меня войти. Женщина с ребенком тоже вошли, и супруги принялись распахивать ставни, впуская в безмолвный вестибюль дневной свет. Они шли впереди меня, переходили из комнаты в комнату и открывали ставни, по доброте сердечной

веря, что этим можно хоть немного смягчить мою боль. Комнаты составляли анфиладу – большие, просторные, с украшенными фресками потолками, с каменными полами; тяжелый воздух был густо насыщен запахом средневековой плесени. В некоторых комнатах стены были голые, в некоторых – завешены гобеленами, а в одной – еще более темной и мрачной – стоял длинный, узкий обеденный стол с огромными канделябрами кованого железа на обоих концах, обставленный резными монастырскими стульями.

– Вилла Сангаллетти очень красивая, синьор, очень старая, – сказал мужчина. – Синьор Эшли, вот где он обычно сидел, когда солнце во дворе было слишком сильным для него. Это был его стул.

Он почти благоговейно показал на стул с высокой спинкой, стоявший у стола. Я как завороженный смотрел на него. Неужели все это было на самом деле? Я не мог представить себе Эмброза в этом доме, в этой комнате. Здесь невозможно ходить его походкой, невозможно свистеть, запросто разговаривать, бросать трость рядом с этим стулом, этим столом…

Муж и жена неторопливо, размеренно переходили от окна к окну, широко распахивая ставни. Снаружи был маленький дворик, нечто вроде окруженного арками четырехугольника, открытого небу, но недоступного солнцу. В центре дворика стоял фонтан с бронзовой скульптурой мальчика, держащего в руках раковину. За фонтаном на немощеном кусочке земли росло ракитное дерево, крона которого давала густую тень. Золотые цветы давно завяли и облетели и теперь лежали на земле, пыльные, посеревшие. Мужчина шепнул женщине несколько слов; она пошла в угол дворика и повернула кран. Медленно, певуче вода тонкой струйкой полилась из раковины в руках бронзового мальчика и брызгами рассыпалась по поверхности небольшого бассейна.

– Синьор Эшли, – сказал мужчина, – он каждый день сидел здесь и смотрел на фонтан. Он любил смотреть на воду. Он сидел там, под деревом. Оно очень красивое весной. Графиня, она звала его из комнаты наверху.

Он показал на каменные колонны балюстрады. Женщина скрылась в доме и вскоре появилась на балконе, распахнув ставни. Из раковины продолжала струиться вода, неторопливыми каплями разбиваясь о дно маленького бассейна.

– Летом они всегда сидят здесь, – снова заговорил мужчина. – Синьор Эшли и графиня. Они едят здесь, слушают, как играет фонтан. Я, понимаете, прислуживаю. Выношу два подноса и ставлю их сюда, на этот стол.

Он показал рукой на каменный стол и два стула, которые так и остались стоять на своих местах.

– После обеда они пьют здесь tisana[2 - Отвар, настой из трав (ит.).], – продолжал он, – день за днем, всегда одно и то же.

Он помолчал и потрогал рукой стул. Тоскливое чувство нахлынуло на меня. В окруженном каменными стенами дворике стояла прохлада, почти могильный холод, но воздух был такой же спертый, как в комнатах, – до того как их открыли.

Я вспомнил, каким Эмброз был дома. Летом он ходил без куртки и в старой соломенной шляпе. Я увидел эту шляпу, надвинутую на глаза, увидел его самого – он стоял в лодке, закатав рукава, и показывал куда-то далеко в море. Я вспомнил, как он протягивал свои длинные руки и, когда я подплывал, втаскивал меня в лодку.

– Да, – сказал мужчина, словно разговаривая сам с собой, – синьор Эшли сидел здесь на стуле и смотрел на воду.

Женщина вернулась и, перейдя дворик, повернула ручку крана. Вода замерла. Бронзовый мальчик смотрел в пустую раковину. Ребенок, который до того не сводил с фонтана округлившихся глаз, вдруг наклонился и ручонками стал собирать с каменного пола опавшие цветы ракитника и бросать их в бассейн. Женщина выбранила его, оттолкнула к стене и, взяв метлу, начала подметать двор. Она нарушила гнетущую тишину, и мужчина коснулся моей руки.

– Хотите посмотреть комнату, где синьор умер? – тихо спросил он.

Все с тем же ощущением нереальности происходящего я следом за ним поднялся по широкой лестнице на второй этаж виллы. Мы прошли через комнаты, где было еще меньше мебели, чем в нижних покоях; одна из них, с окнами на север, на кипарисовую аллею, простотой и скудостью убранства напоминала монашескую келью. К стене была придвинута простая железная

кровать. Рядом с ней стояли ширма, кувшин и таз для умывания. Над камином висел гобелен, в нише помещалась маленькая статуэтка коленопреклоненной Мадонны с молитвенно сложенными руками.

Я посмотрел на кровать; в изножье лежали одеяла из грубой шерсти, в изголовье – одна на другой две подушки без наволочек.

– Вы понимаете, – сказал мужчина приглушенным голосом, – конец был очень неожиданным. Он ослабел, да, очень ослабел от лихорадки, но еще за день до того хоть и с трудом, но спускался вниз посидеть у фонтана. «Нет-нет, – сказала графиня, – вам станет хуже, вам нужен покой». Но он очень упрямый, он никак не хотел ее слушать. Врачи менялись, одни уходили, другие приходили. Синьор Райнальди, он тоже здесь, говорил, уговаривал, но он никогда не слушает, он кричит, он в буйстве, а потом замолкает, совсем как маленький ребенок. Жалко видеть сильного человека в таком состоянии. Потом, рано утром, графиня, она приходит быстро в мою комнату и зовет меня. Я спал в доме, синьор. Ее лицо белое, как эта стена, и она говорит: «Джузеппе, он умирает», и я иду за ней в его комнату, и вот он лежит на кровати, его глаза закрыты, и дышит он так тихо, не тяжело, вы понимаете, не как в настоящем сне. Мы посылаем за врачом, но синьор Эшли, он больше не просыпается, это была кома, сон смерти. Я сам вместе с графиней зажигаю свечи, и, когда были монахини, я пришел посмотреть на него. Буйство прошло, у него было мирное лицо. Как бы я хотел, чтобы вы видели его лицо, синьор!..

В глазах славного малого стояли слезы. Я отвернулся от него и снова посмотрел на пустую кровать. Странно, но я ничего не чувствовал. Оцепенение прошло, но я оставался холоден и безучастен.

– Что вы имели в виду, – спросил я, – говоря о его буйстве?

– Буйство, которое приходило с лихорадкой, – ответил мужчина. – Два-три раза я должен был не давать ему встать с кровати после приступов. А с буйством приходила слабость внутри, вот здесь. – Он прижал руки к животу. – Он очень страдал от боли. А когда боль проходила, он делался вялым, тяжелым и мысли у него путались. Говорю вам, синьор, его было очень жалко. Жалко видеть такого большого человека совсем беспомощным.

Я вышел из голой комнаты, как из пустого склепа. Я слышал, как мой провожатый снова закрывает ставни, затем дверь.

– Почему ничего не делали? – сказал я. – Врачи, разве они не могли облегчить боли? А миссис Эшли, неужели она спокойно дала ему умереть?

Мужчина, казалось, смутился.

– Простите, синьор? – сказал он.

– Что это была за болезнь? Как долго она продолжалась? – спросил я.

– Я ведь сказал вам, что в конце очень быстро, – ответил мужчина, – но до того было два или три приступа. И всю зиму синьор был нездоров, такой грустный, сам не свой. Совсем не то, что в прошлом году. Когда синьор первый раз приехал на виллу, он был счастливый, веселый.

Тем временем он распахнул еще несколько окон, и мы вышли на просторную террасу, украшенную статуями. В ее дальнем конце тянулась каменная балюстрада. Мы пересекли террасу и остановились у балюстрады, глядя на нижний сад, аккуратно подстриженный и симметричный. Из сада долетало благоухание роз и летнего жасмина, вдали высился фонтан, немного поодаль – еще один, широкие каменные ступени сада ярус за ярусом сбегали вниз, к высокой каменной стене, обсаженной кипарисами, которая окружала все имение.

Мы смотрели на запад; последние лучи заходящего солнца заливали террасу и притихший сад мягким сиянием. Даже статуи окрасились в ровный розовый цвет; я стоял, опершись руками на балюстраду, и мне казалось, что странная безмятежность, которой не было раньше, снизошла на сад, на виллу, на все вокруг.

Камни под моей рукой еще не остыли, из трещины выскочила ящерица и, извиваясь, скользнула вниз по стене под нашими ногами.

– Тихим вечером, – сказал мужчина, стоя в двух шагах у меня за спиной, словно желал таким образом выказать мне свое почтение, – здесь, в саду виллы

Сангаллетти, очень красиво. Иногда графиня приказывала пустить фонтаны и, когда была полная луна, после обеда выходила с синьором Эшли на террасу. В прошлом году, до его болезни.

Я продолжал стоять, глядя на фонтаны внизу и на окружавшие их бассейны, в которых плавали водяные лилии.

– Я думаю, – медленно проговорил мужчина, – что графиня больше не вернется сюда. Слишком печально для нее. Слишком много воспоминаний. Синьор Райнальди сказал нам, что виллу сдадут внаем, а может, и продадут.

– А кто такой синьор Райнальди? – спросил я.

Мы пошли к вилле.

– Синьор Райнальди, он все устраивает для графини, – ответил итальянец. – Все, что связано с деньгами, делами, и всякое другое. Он давно знает графиню.

Он нахмурился и замахал на жену, которая с ребенком на руках шла по террасе. Их появление задело его, им было не место здесь. Женщина скрылась в доме и стала закрывать ставни.

– Я хочу видеть синьора Райнальди, – сказал я.

– Я дам вам его адрес, – ответил он. – Он очень хорошо говорит по-английски.

Мы вернулись на виллу, и, пока я шел через комнаты в вестибюль, ставни одна за другой закрывались у меня за спиною.

Я нащупал деньги в кармане, словно это был не я, а кто-то другой, скажем досужий путешественник с континента, посетивший виллу из любопытства или чтобы купить ее. Не я, только что увидевший в первый и последний раз место, где жил и умер Эмброз.

– Благодарю вас за все, что вы сделали для мистера Эшли, – сказал я, кладя монету в ладонь итальянца.

В его глазах снова блеснули слезы.

– Мне так жаль, синьор, – сказал он. – Очень-очень жаль.

Закрыли последнюю ставню. Женщина с ребенком стояли в вестибюле рядом с нами; сводчатый проход в комнаты снова погрузился во тьму, словно вход в склеп.

– Что стало с его одеждой? – спросил я. – С его вещами, книгами, бумагами?

Мужчина встревожился, обернулся к жене и о чем-то спросил ее. Они торопливо обменялись несколькими фразами. Лицо женщины сделалось непроницаемым, она пожала плечами.

– Синьор, – сказал мужчина, – моя жена немного помогала графине, когда она уезжала. И она говорит, что графиня забрала все. Всю одежду синьора Эшли сложила в большой ящик. Все его книги, все было упаковано. Здесь ничего не осталось.

Я посмотрел им обоим в глаза. Они не вздрогнули, не отвели взгляд. Я понял, что они говорят правду.

– И вы совсем не знаете, куда отправилась миссис Эшли? – спросил я.

Мужчина покачал головой.

– Она покинула Флоренцию. Вот все, что нам известно, – сказал он. – На следующий день после похорон графиня уехала.

Он открыл тяжелую входную дверь и вышел наружу.

– Где его похоронили? – спросил я бесстрастно, будто говорил о ком-то постороннем.

– Во Флоренции, синьор. На новом протестантском кладбище. Там похоронено много англичан. Синьор Эшли, он не одинок.

Казалось, он хочет меня убедить, что в мрачном мире по ту сторону могилы у Эмброза будет своя компания и соотечественники утешат его.

Впервые за все это время я почувствовал, что не могу смотреть в глаза честному малому. Они были похожи на глаза собаки – честные, преданные.

Я отвернулся и тут же услышал, как женщина вдруг что-то крикнула мужу; не дав ему захлопнуть дверь, она метнулась обратно в вестибюль и открыла огромный дубовый сундук, стоявший у стены. Она вернулась, держа в руке какой-то предмет, передала его мужу, а он, в свою очередь, мне. Сморщенное лицо итальянца разгладилось от облегчения.

– Графиня, она забыла одну вещь. Возьмите, синьор, она годится только вам.

Это была широкополая шляпа Эмброза. Та, что он обычно носил дома от солнца. Она была очень велика и не подошла бы никому, кроме него. Я чувствовал на себе тревожные взгляды мужа и жены, которые ждали, что я скажу, но я стоял молча и почти бессознательно вертел шляпу в руках.

Глава 5

Не помню, как я возвращался во Флоренцию. Помню лишь, что солнце зашло и быстро стемнело. Сумерек, как у нас дома, не было. В канавах по обочинам дороги насекомые, может быть сверчки, завели свою монотонную трескотню; время от времени мимо проходили босые крестьяне с корзинами за спиной.

Когда мы въехали в город, прохлада и свежесть окрестных гор остались позади и на нас снова пахнуло жаром, но не дневным, обжигающим и пыльно-белым, а ровным, спертым вечерним жаром, накопившимся за многие часы в стенах и крышах домов. Апатия полудня и суета часов между сиестой и закатом сменились более интенсивным, энергичным, напряженным оживлением. На площади и узкие улицы высыпали мужчины и женщины с другими лицами, словно они целый день спали или прятались в погруженных в безмолвие домах, а теперь покинули их, чтобы с кошачьей проворностью рыскать по городу. Покупатели осаждали освещенные факелами и свечами торговые ряды, лотки,

нетерпеливо роясь в предлагаемых товарах. Женщины в шалях переговаривались, бранились, теснили друг друга; торговцы, чтобы их лучше расслышали, во весь голос выкрикивали названия своих товаров. Снова зазвонили колокола, и мне показалось, что теперь их призыв обращен и ко мне. Двери церквей были распахнуты, и я видел в них сияние свечей; группы горожан заволновались, рассеялись, и люди по призыву колоколов устремились внутрь.

Я расплатился с возницей на площади возле собора. Звон огромного колокола, властный, настойчивый, звучал вызовом в неподвижном, вязком воздухе. Почти бессознательно я вместе со всеми вошел в собор и остановился у колонны, напряженно вглядываясь в полумрак. Рядом со мной, опершись на костыль, стоял хромой старик-крестьянин. Его единственный незрячий глаз был обращен к алтарю, губы слегка шевелились, руки тряслись, а вокруг коленопреклоненные загадочные женщины в шалях резкими голосами нараспев повторяли слова священника, перебирая четки узловатыми пальцами.

Со шляпой Эмброза в левой руке я стоял в огромном соборе, приниженный, подавленный его величием, чужой в этом городе холодной красоты и пролитой крови, и, видя священника, благоговейно склонившегося у алтаря, слыша, как губы его произносят торжественные, дошедшие из глубины веков слова, значения которых я не понимал, я вдруг неожиданно остро осознал всю глубину постигшей меня утраты. Эмброз умер. Я больше никогда его не увижу. Он ушел навсегда. Из моей жизни навсегда ушла его улыбка, его приглушенный смех, его руки на моих плечах. Ушла его сила, его чуткость. Ушел с детства знакомый человек, почитаемый и любимый; и я никогда не увижу, как он, ссутулясь, сидит на стуле в библиотеке или стоит, опершись на трость, и любуется морем. Я подумал о пустой комнате на вилле Сангаллетти, в которой он умер, о Мадонне в нише; и что-то говорило мне, что, уйдя, он не стал частью этой комнаты, этого дома, этой страны, но дух его возвратился в родные края, чтобы слиться с дорогими ему холмами, лесом, садом, который он так любил, с шумом моря.

Я развернулся, вышел из собора на площадь и, глядя на огромный купол и стройную башню, силуэт которой четко вырисовывался на фоне вечернего неба, вспомнил, что весь день ничего не ел. Память резко, как бывает после сильных потрясений, вернула меня к действительности. Я обратил мысли с мертвого на живого, отыскал вблизи собора место, где можно было подкрепиться, и, утолив голод, отправился на поиски синьора Райнальди. Добряк-слуга с виллы записал мне его адрес; я пару раз обратился к прохожим, показывая им записку и с трудом выговаривая итальянские слова, и наконец нашел нужный мне дом на

левом берегу Арно, за мостом, рядом с моей гостиницей. По ту сторону реки было темнее и гораздо тише, чем в центре Флоренции. На улицах попадались редкие прохожие. Двери и ставни на окнах были закрыты. Мои шаги глухо звучали по булыжной мостовой.

Наконец я дошел до дома Райнальди и позвонил. Слуга сразу открыл дверь и, не спросив моего имени, повел меня вверх по лестнице, затем по коридору и, постучав в дверь, пропустил в комнату. Щурясь от внезапного света, я остановился и увидел за столом человека, разбиравшего кипу бумаг. Когда я вошел, он встал и пристально посмотрел на меня.

Это был человек лет сорока, чуть ниже меня ростом, с бледным, почти бесцветным лицом и орлиным носом. Что-то гордое, надменное было в его облике – в облике человека, безжалостного к глупцам и врагам.

– Синьор Райнальди? – спросил я. – Меня зовут Эшли. Филип Эшли.

– Да, – ответил он. – Не угодно ли сесть?

Речь его звучала холодно, жестко и почти без акцента. Он подвинул мне стул.

– Вы, конечно, не ожидали увидеть меня? – сказал я, внимательно наблюдая за ним. – Вы не знали, что я во Флоренции?

– Нет, – ответил он. – Нет, я не знал, что вы здесь.

Он явно подбирал слова, однако не исключено, что осторожность в разговоре объяснялась недостаточным знанием английского.

– Вы знаете, кто я?

– Что касается степени родства, то, думаю, я не ошибся, – сказал он. – Вы кузен, не так ли, или племянник покойного Эмброза Эшли?

– Кузен, – сказал я, – и наследник.

Он держал в пальцах перо и постукивал им по столу, не то желая выиграть время, не то по рассеянности.

– Я был на вилле Сангаллетти, – сказал я. – Видел комнату, где он умер. Слуга Джузеппе был очень услужлив. Он обо всем подробно рассказал мне и тем не менее направил к вам.

Мне только почудилось или действительно на его темные глаза набежала тень?

– Как давно вы во Флоренции? – спросил он.

– Несколько часов. С полудня.

– Вы приехали лишь сегодня? Значит, ваша кузина Рейчел вас не видела?

Пальцы, державшие перо, разжались.

– Нет, – сказал я, – из слов слуги я понял, что она покинула Флоренцию на следующий же день после похорон.

– Она покинула виллу Сангаллетти, – сказал он, – Флоренцию она не покидала.

– Она еще здесь, в городе?

– Нет, – ответил он, – нет, она уехала. Она хочет, чтобы я сдал виллу внаем. Возможно, чтобы продал.

– Вам известно, где она сейчас? – спросил я.

– Боюсь, что нет, – ответил он. – Она уехала неожиданно, она не строила никаких планов. Сказала, что напишет, когда придет к какому-нибудь решению относительно будущего.

– Может быть, она у друзей? – предположил я.

– Может быть, – сказал он. – Хотя не думаю.

У меня было чувство, что не далее как сегодня или вчера она была с ним в этой комнате и он знает гораздо больше, чем говорит.

– Вы, конечно, понимаете, синьор Райнальди, – сказал я, – что внезапное известие о смерти брата, услышанное из уст слуги, потрясло меня. Это было похоже на кошмар. Что произошло? Почему мне не сообщили, что он болен?

Он внимательно смотрел на меня, он не сводил с меня глаз.

– Смерть вашего кузена тоже была внезапной, – сказал он, – мы все были потрясены. Он был болен, да, но мы не думали, что настолько серьезно. Обычная лихорадка, которой здесь подвержены многие иностранцы, вызвала определенную слабость; к тому же он жаловался на сильнейшую головную боль. Графиня – мне следовало сказать «миссис Эшли» – была очень обеспокоена, но он – пациент не из легких. По каким-то неведомым причинам он сразу невзлюбил наших врачей. Каждый день миссис Эшли надеялась на улучшение, и, разумеется, у нее не было ни малейшего желания беспокоить ни вас, ни его друзей в Англии.

– Но мы беспокоились, – сказал я. – Поэтому я и приехал во Флоренцию. Я получил от него вот эти письма.

Возможно, я поступил безрассудно, опрометчиво, но мне было все равно. Я протянул через стол два последних письма Эмброза. Он внимательно прочел их. Выражение его лица изменилось. Затем он вернул их мне.

– Да, – сказал он спокойным, без тени удивления голосом, – миссис Эшли опасалась, что он может написать нечто в этом роде. Только в последние недели болезни, когда у него начали проявляться известные странности, врачи стали опасаться худшего и предупредили ее.

– Предупредили ее? – спросил я. – О чем же ее предупредили?

– О том, что на его мозг может что-то давить, – ответил он. – Опухоль или нарост, быстро увеличивающийся в размере, чем и объясняется его состояние.

Меня охватило чувство полной растерянности. Опухоль? Значит, крестный все-таки не ошибся в своем предположении. Сперва дядя Филип, потом Эмброз… И все же… Почему этот итальянец так следит за моими глазами?

– Врачи сказали, что именно опухоль убила его?

– Бесспорно, – ответил он. – Опухоль и слабость после перенесенной лихорадки. Его пользовали два врача. Мой личный врач и еще один. Я могу послать за ними, и вы можете задать им любой вопрос, какой сочтете нужным. Один из них немного знает по-английски.

– Нет, – медленно проговорил я. – В этом нет необходимости.

Он выдвинул ящик стола и вынул лист бумаги.

– Вот свидетельство о смерти, – сказал он, – подписанное ими обоими. Прочтите. Одну копию уже послали в Корнуолл вам, другую – душеприказчику вашего кузена, мистеру Николасу Кендаллу, проживающему близ Лостуитиела в Корнуолле.

Я опустил глаза на документ, но не дал себе труда прочесть его.

– Откуда вам известно, – спросил я, – что Николас Кендалл – душеприказчик моего брата?

– Ваш кузен Эмброз имел при себе копию завещания, – ответил синьор Райнальди. – Я читал его много раз.

– Вы читали завещание моего брата? – недоверчиво спросил я.

– Естественно, – ответил он. – Как доверенное лицо в делах графини, в делах миссис Эшли, я должен был ознакомиться с завещанием ее мужа. Здесь нет ничего странного. Ваш кузен сам показал мне завещание вскоре после того, как они поженились. Более того, у меня есть копия. Но в мои обязанности не входит показывать ее вам. Это обязанность мистера Кендалла, вашего опекуна. Без сомнения, он исполнит это по вашем возвращении домой.

Он знал, что Ник Кендалл не только мой крестный, но и опекун, чего я и сам не знал. Если только он не ошибся. Конечно же, после двадцати одного года опекунов ни у кого нет, а мне было двадцать четыре. Впрочем, неважно. Эмброз и его болезнь, Эмброз и его смерть – остальное не имеет значения.

– Эти два письма, – упрямо сказал я, – не письма больного человека. Это письма человека, у которого есть враги, человека, окруженного людьми, которым он не доверяет.

Синьор Райнальди снова пристально посмотрел на меня.

– Это письма человека, страдающего заболеванием мозга, мистер Эшли, – сказал он. – Извините меня за резкость, но я видел его в последние недели, а вы нет. Никто из нас не испытал особого удовольствия, и менее всех – его жена. Видите, в первом из ваших писем он пишет, что она ни на минуту не оставляет его. Я могу поручиться, что так и было. Она не отходила от него ни днем ни ночью. Любая другая женщина пригласила бы монахинь присматривать за ним.

– Тем не менее ему это не помогло, – сказал я. – Загляните в письмо, посмотрите на последнюю строчку. «Она все же доконала меня, Рейчел, мука моя». Как вы объясните это, синьор Райнальди?

Наверное, от волнения я повысил голос. Он поднялся со стула и дернул сонетку. Появился слуга. Он отдал ему какое-то распоряжение, и тот вскоре вернулся с вином, водой и стаканом.

– Так что же? – спросил я.

Он не сел за стол, а подошел к стене, заставленной книгами, и снял с полки какой-то том.

– Вам не приходилось изучать историю медицины, мистер Эшли? – спросил он.

– Нет, – ответил я.

– Здесь вы найдете, – сказал он, – интересующую вас информацию; кроме того, вы можете обратиться за ней к врачам, адреса которых я вам с удовольствием

предоставлю. Существует особое заболевание мозга, проявляющееся, как правило, в виде опухоли или новообразования, в результате чего заболевшего начинают преследовать галлюцинации. Например, ему кажется, что за ним следят. Что самый близкий человек, такой как жена, либо злоумышляет против него, либо неверна, либо стремится завладеть его деньгами. Ни любовь, ни уговоры не могут успокоить подозрительность больного. Если вы не верите ни мне, ни нашим врачам, спросите своих соотечественников или прочитайте вот эту книгу.

Как правдоподобно, как холодно, как убедительно звучали его слова!.. Я представил себе, как Эмброз лежит на железной кровати на вилле Сангаллетти, измученный, растерянный, а этот человек наблюдает за ним, методично анализирует симптомы болезни, возможно, подглядывает из-за ширмы… Я не знал, прав Райнальди или нет, но я твердо знал, что ненавижу его.

– Почему она не послала за мной? – спросил я. – Если Эмброз перестал верить ей, почему она не послала за мной? Я лучше знал его.

Райнальди с шумом захлопнул книгу и поставил ее на полку.

– Вы очень молоды, не так ли, мистер Эшли? – сказал он.

Я уставился на него. Я не понимал, что он имеет в виду.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я.

– Эмоциональные женщины нелегко сдаются. Называйте это гордостью, упорством, как угодно. Несмотря на многие доказательства обратного, их эмоции гораздо примитивнее наших. Они всеми силами держатся за свое и никогда не отступают. У нас есть войны и битвы. Но женщины тоже могут сражаться.

Он посмотрел на меня своими холодными, глубоко посаженными глазами, и я понял, что мне больше нечего сказать ему.

– Если бы я был здесь, – сказал я, – он бы не умер.

Я встал со стула и пошел к двери. Райнальди снова позвонил, и в комнату вошел слуга, чтобы проводить меня.

– Я написал вашему крестному, мистеру Кендаллу, – сказал Райнальди. – Я очень подробно, в мельчайших деталях объяснил ему все случившееся. Могу ли я еще чем-нибудь быть вам полезен? Вы намерены задержаться во Флоренции?

– Нет, – сказал я, – к чему? Меня здесь ничто не держит.

– Если вы желаете увидеть могилу, – сказал он, – я дам вам записку к смотрителю протестантского кладбища. Место довольно скромное, без излишеств; камня, разумеется, еще нет. Его поставят в ближайшее время.

Он повернулся к столу, набросал записку и дал ее мне.

– Что будет написано на камне? – спросил я.

Он на мгновение задумался; тем временем слуга, стоя у открытой двери, протянул мне шляпу Эмброза.

– Если не ошибаюсь, – наконец сказал Райнальди, – мне поручено заказать следующую надпись: «Памяти Эмброза Эшли, возлюбленного мужа Рейчел Корин Эшли». Далее, разумеется, годы жизни.

Я уже тогда знал, что не хочу идти на кладбище и видеть могилу. Не хочу видеть место, где они похоронили Эмброза. Пусть ставят надгробный камень и приносят к нему цветы, если хотят; Эмброзу все равно, он никогда об этом не узнает. Он будет со мной в далекой западной стране, в своей родной земле.

– Когда миссис Эшли вернется, – медленно проговорил я, – скажите ей, что я приезжал во Флоренцию, что был на вилле Сангаллетти и видел, где умер Эмброз. Также можете сказать ей о письмах, которые Эмброз писал мне.

Он протянул мне руку, холодную, жесткую, как он сам.

– Ваша кузина Рейчел – женщина импульсивная, – сказал он. – Уезжая из Флоренции, она забрала все свое имущество. Я очень боюсь, что она никогда не

вернется.

Я вышел из дома и побрел по темной улице. Мне казалось, что глаза Рейчел следят за мной из-за закрытых ставен. Я возвращался мощенными булыжником улицами, перешел через мост, но, прежде чем свернуть к гостинице и, если удастся, поспать до утра, снова остановился у Арно.

Город спал. Один я слонялся без дела. Даже колокола молчали. И только река, струясь под мостом, нарушала полную тишину. Казалось, она течет быстрее, чем днем, словно вода, смирившаяся со своим пленом в дневные часы жары и солнца, теперь, в ночи и безмолвии, обрела свободу.

Я не отрываясь смотрел вниз на реку, наблюдал, как она течет, дышит и теряется во тьме. В слабом, мигающем свете фонаря были видны пенисто-бурые пузыри, то здесь, то там возникающие на воде. И вдруг поток вынес окоченелый собачий труп. Медленно поворачиваясь, со всеми четырьмя лапами, поднятыми в воздух, он проплыл под мостом и скрылся.

И там, на берегу Арно, я дал себе обет.

Я поклялся, что за всю боль и страдания Эмброза перед смертью я сполна воздам женщине, которая была их виновницей. Я не верил истории Райнальди. Я верил в правдивость двух писем, которые держал в правой руке. Последних, что написал мне Эмброз.

Когда-нибудь я так или иначе рассчитаюсь с моей кузиной Рейчел.

Глава 6

Я вернулся домой в начале сентября. Печальная весть опередила меня: итальянец не лгал, когда говорил, что написал Нику Кендаллу. Мой крестный сообщил ее слугам и арендаторам. В Бодмине меня встретил Веллингтон с экипажем. На лошадях были траурные ленты. На Веллингтоне и груме – тоже, и лица у обоих были вытянутые, серьезные.

Вновь ступив на родную землю, я испытал такое облегчение, что горе ненадолго утихло, а может, долгий обратный путь через всю Европу притупил мои чувства. Помню, как при виде Веллингтона и мальчика-грума мне захотелось улыбнуться, погладить лошадей и спросить, все ли в порядке, словно я был школьником, приехавшим на каникулы. Однако Веллингтон держался строго и даже церемонно, чего прежде за ним не водилось, а молодой грум открыл мне дверцу с подчеркнутой почтительностью.

– Грустное возвращение, мистер Филип, – сказал Веллингтон. Когда я спросил его о Сикоме и об остальных, он покачал головой и ответил, что слуги и арендаторы в глубоком горе. – С тех пор как до нас дошла эта новость, – сказал он, – соседи ни о чем другом не говорят. Все воскресенье и церковь, и часовня в поместье были увешаны черным, но самым большим ударом стало, – продолжал Веллингтон, – когда мистер Кендалл сообщил, что их господина похоронили в Италии, что его не привезут домой и не положат в семейном склепе. Неладно это, мистер Филип. Все мы так считаем. Думаем, оно бы и мистеру Эшли не понравилось.

Ответить мне было нечего. Я сел в экипаж, и мы покатили домой.

Как ни странно, но, стоило мне увидеть наш дом, волнения и усталость последних недель сразу исчезли. Нервное напряжение прошло; несмотря на долгую дорогу, я чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным. Экипаж въехал во вторые ворота и, поднявшись по склону, приближался к дому. Был полдень, и солнце заливало окна и серые стены западного крыла здания. Собакам не терпелось броситься мне навстречу. Старик Сиком, с траурной повязкой на рукаве, как у всех слуг, не выдержал и, чуть не плача, заговорил, когда я сжал его руку:

– И долго же вас не было, мистер Филип, ох и долго же! А нам каково? Почем знать, не заболели ли и вы лихорадкой, как мистер Эшли!

Сиком прислуживал мне за обедом, заботливый, внимательный, стараясь предупредить мои малейшие желания, и я был благодарен ему за то, что он не пристает ко мне с расспросами о моем путешествии, о болезни и смерти хозяина, а сам рассказывает, какое впечатление произвела смерть Эмброза на него и на всех домашних: как весь день звонили колокола, что говорил в церкви викарий, как в знак соболезнования приносили венки. Его рассказ перемежался новым, почтительно-официальным обращением ко мне. «Мастера Филипа» сменил

«мистер Филип». Я успел заметить такую же перемену в обращении ко мне кучера и грума. Она была неожиданной и тем не менее странно согревала сердце. Пообедав, я поднялся к себе в комнату, окинул ее взглядом, затем спустился в библиотеку и вышел из дома. Меня переполняло давно забытое ощущение счастья, которого, как я думал, после смерти Эмброза мне уже не испытать, – я уезжал из Флоренции ввергнутый в бездну одиночества и ни на что не надеялся. На дорогах Италии и Франции меня преследовали видения и образы, и я был не в силах отогнать их. Я видел, как Эмброз сидит в тенистом дворике виллы Сангаллетти под ракитником и смотрит на плачущий фонтан. Я видел его в голой монашеской келье второго этажа, задыхающегося, с двумя подушками за спиной. И рядом, все слыша, все замечая, всегда как тень присутствовала ненавистная, лишенная четких очертаний фигура женщины. У нее было множество лиц, множество обличий; да и то, что слуга Джузеппе и Райнальди предпочитали именовать ее графиней, а не миссис Эшли, окружало ее некой аурой, которой не было, когда я представлял ее второй миссис Паско.

После моей поездки на виллу женщина эта стала исчадием ада. У нее были темные, как дикие сливы, глаза, орлиный профиль, как у Райнальди; по-змеиному плавно и бесшумно двигалась она в затхлых комнатах виллы. Я видел, как она, едва от Эмброза отлетело последнее дыхание жизни, складывает его одежду в ящики, тянется к его книгам, последнему, что у него осталось, и наконец, поджав губы, уползает в Рим, или в Неаполь, или, притаившись в доме на берегу Арно, улыбается за глухими ставнями. Эти образы преследовали меня, пока я не переплыл море и не высадился в Дувре. Но теперь, теперь, когда я вернулся домой, они рассеялись, как рассеивается кошмарный сон с первыми лучами дня. Острота горя прошла. Эмброз вновь был со мной, его мучения кончились, он больше не страдал, словно он вовсе не уезжал во Флоренцию, не уезжал в Италию, а умер здесь, в собственном доме, и похоронен рядом со своими отцом и матерью, рядом с моими родителями. Мне казалось, что теперь я сумею справиться с горем; со мною жила печаль, но не трагедия. Я тоже вернулся на землю, взрастившую меня, и вновь дышал воздухом родных мест.

Я шел через поля. Крестьяне, убиравшие урожай, поднимали на телеги копны пшеницы. Увидев меня, они прервали работу, и я остановился поговорить с ними. Старик Билли Роу, который, сколько я его знал, всегда был арендатором Бартонских земель и никогда не называл меня иначе как «мастер Филип», поднес руку ко лбу, а его жена и дочь, помогавшие мужчинам, присели в реверансе.

– Нам вас очень не хватало, сэр, – сказал Билли. – Нам казалось, что без вас негоже свозить хлеб с полей. Мы рады, что вы снова дома.

Год назад я, как простой работник, закатал бы рукава и взялся за вилы, но теперь что-то остановило меня – я понимал, что они сочтут такое поведение неприличным.

– Я рад, что снова дома, – сказал я. – Смерть мистера Эшли – огромное горе и для меня, и для вас, но надо держаться и работать, чтобы не обмануть его ожиданий и веры в нас.

– Да, сэр, – сказал Билли и снова поднес руку ко лбу.

Поговорив с ними еще немного, я кликнул собак и пошел дальше. Старик ждал, пока я не скрылся за живой изгородью, и лишь тогда велел работникам снова взяться за дело. Дойдя до выгона на полпути между домом и нижними полями, я остановился и оглянулся поверх покосившейся ограды. На вершине холма четко вырисовывались силуэты телег, и на фоне неба темными точками выделялись очертания застывших в ожидании лошадей. В последних лучах солнца снопы пшеницы отливали золотом. Темно-синее, а у скал почти фиолетовое море казалось бездонным, как всегда в часы прилива. В восточной части бухты стояла целая флотилия рыбачьих лодок, готовая выйти в море при первых порывах берегового бриза.

Когда я вернулся, дом был погружен в тень и только на флюгере над шпилем часовой башни дрожала слабая полоска света. Я медленно шел через лужайку к открытой двери. Сиком еще не посылал закрыть ставни, и окна дома смотрели в сгущающийся мрак. Было что-то теплое и приветное в этих поднятых оконных рамах, в слегка колышущихся занавесях и в мысли о комнатах за окнами, таких знакомых и любимых. Из труб прямыми тонкими струйками поднимался дым. Дон, старый ретривер, слишком древний и немощный, чтобы с более молодыми собаками сопровождать меня, почесывался, лежа на песке под окнами библиотеки, а когда я подошел ближе, повернул голову и завилял хвостом.

Впервые с тех пор, как я узнал о смерти Эмброза, я с поразительной остротой и силой осознал: все, что я сейчас вижу, все, на что смотрю, принадлежит мне. Всецело, безраздельно. Эти окна и стены, эта крыша, этот колокол, пробивший семь раз при моем приближении, все живое в доме – мое, и только мое. Трава

под моими ногами, деревья вокруг меня, холмы у меня за спиной, луга, леса, даже мужчины и женщины, возделывающие землю, – часть моего наследства; все это мое.

Я переступил порог дома, прошел в библиотеку и остановился спиной к камину, держа руки в карманах. Собаки, по своему обыкновению, последовали за мной и легли у моих ног. Вошел Сиком и спросил, не будет ли распоряжений для Веллингтона на утро. Не желаю ли я, чтобы подали экипаж или оседлали Цыганку?

– Нет, – ответил я. – Сегодня я не буду отдавать никаких распоряжений, а завтра утром сам увижусь с Веллингтоном.

Я велел разбудить меня как обычно.

– Да, сэр, – ответил Сиком и вышел.

Мастер Филип уехал навсегда. Домой вернулся мистер Эшли. Такая перемена вызывала во мне смешанные чувства: с одной стороны – робость, с другой – какую-то особую гордость. Я ощутил незнакомую прежде уверенность, силу, душевный подъем. Мне казалось, будто я переживаю то же, что солдат, которому поручили командовать батальоном; ко мне пришло то же чувство собственности, та же гордость, наконец, то же ощущение свободы, какое приходит к старшему офицеру, в течение многих лет занимавшему не соответствующую его званию должность. Но, в отличие от солдата, я никогда не сложу с себя командования. Оно мое пожизненно. Думаю, что тогда, стоя у камина в библиотеке, я пережил мгновение счастья, какого у меня никогда не было и больше не будет. Как все подобные мгновения, оно настало внезапно и так же внезапно пронеслось. Какой-то обыденный звук вернул меня к действительности: то ли шевельнулась собака, то ли выпал из камина уголек или слуга закрыл наверху окна – не помню, что это было.

На следующий день приехал мой крестный, Ник Кендалл, с Луизой. Близких родственников у меня не было, поэтому за исключением того, что Эмброз отказал Сикому и другим слугам, да обычных пожертвований беднякам прихода, вдовам и сиротам, все движимое и недвижимое имущество было оставлено мне. Ник Кендалл в библиотеке прочел мне завещание. Луиза вышла в сад. Несмотря на юридическую терминологию, документ оказался простым и понятным. За

исключением одного пункта. Итальянец Райнальди был прав. Ник Кендалл действительно становился моим опекуном, так как имение реально переходило в мою собственность только по достижении мною двадцатипятилетнего возраста.

– Эмброз считал, – сказал крестный, – что молодой человек до двадцати пяти лет сам толком не знает, чего хочет. В тебе могла проявиться слабость к вину, картам или женщинам, и статья, обусловливающая возраст вступления в наследство, не более чем мера предосторожности. Я помогал ему составить завещание, когда ты еще был в Харроу, и, хотя мы не замечали в тебе дурных склонностей, Эмброз счел за благо включить этот пункт. «Для Филипа тут нет ничего обидного, – сказал он, – но это научит его осторожности». Впрочем, что есть, то есть, и ничего не поделаешь. Практически это тебя ничуть не ущемляет, за исключением того, что тебе еще семь месяцев придется обращаться ко мне за деньгами для платежей по имению и на личные расходы. Ведь твой день рождения в апреле, так?

– Пора бы и запомнить, – сказал я. – Вы же мой крестный отец.

– Ну и забавный ты был червячок! – Он улыбнулся. – Так и уставился любопытными глазенками на пастора… Эмброз только что вернулся из Оксфорда. Он схватил тебя за нос, чтобы ты заплакал, чем привел в ужас свою тетушку – твою мать. Потом вызвал твоего бедного отца помериться силами в гребле; они промокли до нитки, пока доплыли до Лостуитиела. Ты когда-нибудь чувствовал себя сиротой, Филип? Тебе, наверное, нелегко было расти без матери.

– Не знаю, – ответил я. – Я никогда не задумывался об этом. Мне никто не был нужен, кроме Эмброза.

– И все же это неправильно, – возразил крестный. – Я не раз говорил с Эмброзом, но он не слушал меня. В доме нужна была экономка, дальняя родственница, хоть кто-нибудь. Ты вырос, совершенно не зная женщин, и, когда женишься, твоей жене придется нелегко. Не далее как сегодня за завтраком я говорил об этом Луизе.

Крестный осекся. Мне показалось, что ему стало неловко, словно он сказал лишнее, – если только такой человек, как он, вообще способен испытывать неловкость.

– Не беспокойтесь, – сказал я, – когда придет время, моя жена справится. Если такое время вообще придет, в чем я весьма сомневаюсь. Я слишком похож на Эмброза и знаю, к чему привела его женитьба.

Крестный молчал. Я рассказал ему о визите на виллу и о встрече с Райнальди, а он, в свою очередь, показал мне письмо, присланное ему итальянцем. Как я и ожидал, там в холодных высокопарных выражениях излагалась его версия болезни и смерти Эмброза, высказывались сожаления по поводу этой кончины, описывались потрясение и горе безутешной, по мнению Райнальди, вдовы.

– Настолько безутешной, – сказал я, – что на следующий день после похорон она уезжает, как вор, забрав все вещи Эмброза, кроме старой шляпы, о которой забыла. Разумеется, только потому, что шляпа рваная и ничего не стоит.

Крестный кашлянул. Его густые брови нахмурились.

– Конечно, – сказал он, – ты не настолько скуп, чтобы попрекать ее тем, что она оставила себе его книги и одежду. Полно, Филип, это все, что у нее есть.

– Как это, – спросил я, – «все, что у нее есть»?

– Я прочел тебе завещание, – ответил он. – Вот оно, перед тобой. То самое завещание, которое я составил десять лет назад. Видишь ли, в нем нет дополнений в связи с женитьбой Эмброза. Не указана доля наследства, причитающаяся его жене. Весь прошлый год я, откровенно говоря, ждал, что он сообщит мне, по меньшей мере, условия брачного контракта. Так всегда поступают. Полагаю, досадное пренебрежение столь важными вещами объясняется его пребыванием за границей, к тому же он не оставлял надежды вернуться. Затем болезнь положила конец всему. Я несколько удивлен, что этот итальянец, синьор Райнальди, которого ты, кажется, весьма недолюбливаешь, ни словом не обмолвился о притязаниях миссис Эшли на долю наследства. Это говорит о его крайней деликатности.

– Притязания? – переспросил я. – Боже мой, вы говорите о каких-то притязаниях, когда нам прекрасно известно, что она свела его в могилу!

– Нам не известно ничего подобного, – возразил крестный, – а если ты намерен и дальше говорить в таком тоне о вдове своего брата, я не стану тебя слушать.

Он поднялся со стула и стал собирать бумаги.

– Значит, вы верите в эту сказку про опухоль? – спросил я.

– Естественно, верю, – ответил он. – Вот письмо Райнальди и свидетельство о смерти, подписанное двумя врачами. Я помню смерть твоего дяди Филипа, а ты нет. Симптомы очень похожи. Именно этого я и боялся, когда от Эмброза пришло письмо и ты уехал во Флоренцию. Плохо, что ты прибыл слишком поздно и твоя помощь уже не понадобилась. Но ничего не поделаешь. Однако если подумать, то, возможно, это вовсе и не плохо. Вряд ли ты хотел бы видеть, как он страдает.

Старый глупец! Я едва не ударил его за упрямство и слепоту.

– Вы не видели второго письма, – сказал я, – записки, которая пришла в утро моего отъезда. Взгляните.

Записка, которую я всегда держал в нагрудном кармане, была при мне. Я подал записку крестному. Он снова надел очки и прочел ее.

– Мне очень жаль, Филип, – сказал он, – но даже эти каракули не могут изменить моего мнения. Надо смотреть правде в глаза. Ты любил Эмброза. Я – друга. Мне тоже больно думать о его душевных страданиях, если даже не больнее, потому что я видел, как страдал другой. Твоя беда в том, что человек, которого мы знали, любили, которым восхищались, перед смертью утратил свой истинный облик. Он был болен душевно и физически и не отвечал за то, что писал или говорил.

– Я этому не верю, – сказал я. – Не могу верить.

– Ты не хочешь верить, – возразил крестный. – А раз так, то и говорить больше не о чем. Но ради Эмброза, ради всех в имении и в графстве, кто знал и любил его, я должен просить тебя ни с кем не делиться этими мыслями. Ты только огорчишь их, причинишь им боль; а если хоть малейшие толки дойдут до вдовы, где бы она ни была, ты унизишь себя в ее глазах и она с полным правом сможет подать на тебя в суд за клевету. Если бы я был ее поверенным, каковым, похоже, является этот итальянец, я, конечно, так бы и поступил.

Я никогда не слышал, чтобы крестный говорил так резко. Он был прав, продолжать разговор не имело смысла. Я получил урок и впредь не буду затрагивать эту тему.

– Не позвать ли нам Луизу? – подчеркнуто холодно спросил я. – По-моему, хватит ей бродить по саду. Оставайтесь и пообедайте со мною.

За обедом крестный хранил молчание. Я видел, что он еще не опомнился от всего сказанного мною. Луиза расспрашивала меня о путешествии, о том, что я думаю о Париже, о французских селениях и городах, об Альпах, о самой Франции, и мои ответы, часто невпопад, заполняли паузы в разговоре. Однако Луиза была сообразительна и чуяла что-то неладное. После обеда крестный позвал Сикома и слуг объявить, что им оставил покойный, а мы с Луизой ушли в гостиную.

– Крестный мною недоволен, – начал я и все рассказал Луизе.

Слегка склонив голову набок и приподняв подбородок, Луиза разглядывала меня со своим всегдашним ироническим любопытством, к которому я давно привык.

– Знаешь, – сказала она, выслушав меня, – я думаю, что ты, пожалуй, прав. Боюсь, бедный мистер Эшли и его жена не были счастливы, а он был слишком горд, чтобы писать тебе об этом, пока не заболел, и тогда, наверное, они поссорились, и все произошло сразу, и он написал тебе письмо. Что говорили о ней слуги? Она молодая? Она старая?

– Я не спрашивал, – ответил я. – По-моему, это неважно. Важно только то, что перед смертью он не доверял ей.

Луиза кивнула.

– Ужасно, – согласилась она. – Наверное, ему было очень одиноко.

В моем сердце проснулась нежность к Луизе. Возможно, благодаря своей молодости – мы были почти ровесниками – Луиза оказалась проницательнее отца. Крестный стареет, думал я про себя, и здравый смысл начинает изменять ему.

– Тебе нужно было спросить этого итальянца Райнальди, как она выглядит, – продолжала Луиза. – Я бы спросила. Это был бы мой первый вопрос. И что случилось с графом, ее первым мужем. По-моему, ты как-то говорил мне, что его убили на дуэли? Вот видишь, это тоже не в ее пользу. Наверное, у нее были любовники.

Мне никогда не приходило в голову взглянуть на мою кузину Рейчел с этой точки зрения. Она всегда представлялась мне воплощением злобы, только злобы, чем-то вроде паука. При всей моей ненависти к этой женщине я не мог сдержать улыбку.

– Все девушки таковы, – сказал я Луизе. – Им повсюду видятся любовники. Кинжалы в темных коридорах. Потайные лестницы. Мне надо было взять тебя с собой во Флоренцию. Ты бы узнала гораздо больше, чем я.

Она густо покраснела. До чего же странные существа девушки, подумал я. Даже Луиза, зная меня всю жизнь, не поняла шутки.

– Во всяком случае, – сказал я, – сотня у нее любовников или ни одного – меня это не касается. Пусть себе пока прячется в Риме, Неаполе или где-нибудь еще. Со временем я разыщу ее, и она пожалеет об этом.

Тут в гостиную вошел крестный, и я больше ничего не сказал. Его настроение как будто улучшилось. Несомненно, Сиком, Веллингтон и остальные выразили благодарность за отказанное им небольшое наследство, и крестный милостиво разделил ее с завещателем.

– Поскорее приезжай в гости, – сказал я Луизе. – Ты хорошо на меня действуешь. Мне приятно твое общество.

И она, глупая девочка, опять покраснела и подняла глаза на отца, чтобы посмотреть, как тот воспринимает мои слова, будто мы не ездили без конца взад и вперед в гости друг к другу… Кажется, мое новое положение на Луизу тоже произвело впечатление, и не успею я глазом моргнуть, как и для нее стану «мистером Эшли» вместо «Филипа». Я вернулся в дом, улыбаясь при мысли, что Луиза Кендалл, которую всего несколько лет назад я частенько дергал за волосы, почтительно взирает на меня, но уже через минуту забыл и о ней, и о

крестном – за два месяца отсутствия у меня накопилось немало дел по хозяйству.

Занятый уборкой пшеницы и прочими заботами, которые теперь лежали на мне, я рассчитывал снова увидеться с крестным не раньше чем недели через две. Но не прошло и недели, как однажды после полудня прискакал его грум и на словах передал мне просьбу своего хозяина навестить его; сам он не может приехать, поскольку из-за легкой простуды не выходит из дома, но у него есть новости для меня.

Я подумал, что крестный подождет – в тот день мы свозили с полей последнюю пшеницу, – и отправился к нему на следующее утро.

Я застал его в кабинете. Он был один. Луиза куда-то уехала. У него был озабоченный и смущенный вид. Я сразу заметил, что он взволнован.

– Ну, – сказал крестный, – теперь надо что-то делать. Тебе решать что и как. Она прибыла в Плимут пакетботом.

– Кто прибыл? – спросил я. Но, кажется, уже знал ответ.

Он показал мне лист бумаги.

– Вот письмо от твоей кузины Рейчел.

Глава 7

Крестный отдал мне письмо. Не разворачивая бумаги, я взглянул на почерк. Не знаю, что я ожидал увидеть. Возможно, что-нибудь четкое, с завитками и росчерками, или, напротив, неразборчивое и убогое. Но это был почерк как почерк, похожий на многие другие, только окончания слов, будто истаивая, переходили в пунктир, отчего расшифровать слова было непросто.

– Очевидно, она не знает, что нам все известно, – сказал крестный. – Должно быть, уехала из Флоренции, прежде чем синьор Райнальди написал мне. Ну,

посмотрим, что ты теперь скажешь. Свое мнение я выскажу позже.

Я развернул письмо. Оно было отправлено из Плимута тринадцатого сентября.

«Дорогой мистер Кендалл!

Когда Эмброз говорил о Вас, а это бывало весьма часто, я никак не думала, что впервые мне придется обратиться к Вам по столь печальному поводу. Сегодня утром я прибыла из Генуи в Плимут в большом горе и, увы, одна. Мой дорогой супруг умер двадцатого июля во Флоренции после короткой, но мучительной болезни. Я сделала все, что могла, пригласила лучших врачей, но они были не в силах спасти его. Возобновилась лихорадка, которую он уже перенес весной, но конец наступил вследствие давления в мозгу, которое, по мнению врачей, в течение нескольких месяцев не давало о себе знать, а затем быстро развилось. Он лежит на протестантском кладбище во Флоренции – место я выбрала сама, – невдалеке от могил других англичан, среди деревьев. Он был бы доволен. Не буду говорить о моем горе и душевной опустошенности, Вы не знаете меня, и я ни в коей мере не хочу обременять Вас своими переживаниями.

Я сразу подумала о Филипе, которого Эмброз нежно любил и чье горе будет не меньше моего. Мой добрый друг и советчик синьор Райнальди из Флоренции заверил меня, что напишет Вам и сообщит горестную весть, чтобы Вы в свою очередь известили Филипа. Но я не очень доверяю почтовому сообщению между Италией и Англией и боялась, что либо Вы узнаете все с чужих слов, либо не узнаете вовсе. Этим и объясняется мой приезд в Англию.

Я привезла с собой все вещи Эмброза: его книги, его одежду, все, что Филип пожелал бы сохранить и что теперь по праву принадлежит ему. Буду глубоко признательна Вам, если Вы сообщите мне, что с ними делать, как переслать и следует ли мне самой написать Филипу.

Я покинула Флоренцию сразу и без сожаления в минуту порыва. После смерти Эмброза оставаться там было выше моих сил. Что касается моих дальнейших планов, то их нет. После столь ужасного потрясения необходимо время для того, чтобы прийти в себя. Я надеялась быть в Англии раньше, но задержалась в Генуе, поскольку доставившее меня судно не было готово к отплытию. По-видимому, где-то в Корнуолле у меня есть родственники из семейства Коринов,

но, не зная их, я не хотела бы навязывать им свое общество. Возможно, немного отдохнув здесь, я поеду в Лондон и подумаю, как мне быть дальше.

Буду ждать Ваших указаний относительно того, как мне поступить с вещами мужа.

Искренне Ваша

Рейчел Эшли».

Я прочитал письмо один, два, может быть, три раза, затем вернул его крестному. Он ждал, что я заговорю первым. Я не сказал ни слова.

– Видишь, – наконец проговорил он, – она все же ничего себе не оставила. Даже такой мелочи, как книга или пара перчаток. Все достанется тебе.

Я не ответил.

– Она даже не просит разрешения взглянуть на дом, – продолжил крестный, – который был бы ее домом, если бы Эмброз не умер. А это путешествие… ты, конечно, понимаешь, что при других обстоятельствах они совершили бы его вместе. Она бы приехала к себе домой. Чувствуешь разницу, а? В имении стар и млад радуются ее приезду, слуги вне себя от волнения, соседи спешат с визитами, и вместо всего этого – одиночество в плимутской гостинице. Быть может, она весьма мила, быть может – крайне неприятна; мне трудно судить, ведь я никогда с ней не встречался. Но суть в том, что она ничего не просит, ничего не требует. И она – миссис Эшли. Мне очень жаль, Филип. Я знаю твое мнение, тебя ничто не заставит изменить его. Но как друг и душеприказчик Эмброза я не могу спокойно сидеть здесь, когда его вдова совершенно одна приехала в Англию, где у нее нет ни друзей, ни близких. В нашем доме есть комната для гостей. Твоя кузина может пользоваться ею до тех пор, пока не примет определенного решения относительно планов на будущее.

Я подошел к окну. Луиза, оказывается, вовсе не уезжала. С корзиной в руке, она срезала увядшие головки цветов по бордюру клумбы. Она подняла голову и, увидев меня, помахала рукой. Интересно, подумал я, прочел ей крестный письмо или нет?

– Так вот, Филип, – сказал он, – можешь написать ей, можешь не писать – это уж как тебе угодно. Не думаю, что ты хочешь видеть ее, и, если она примет мое приглашение, не стану звать тебя к нам, пока она здесь. Но приличия ради ты, по крайней мере, должен передать ей благодарность за привезенные вещи. Когда я буду писать ей, можно вставить в постскриптуме несколько слов от тебя.

Я отвернулся от окна и взглянул на крестного.

– Почему вы решили, будто я не хочу ее видеть? – спросил я. – Напротив, я хочу увидеть ее, очень хочу. Если она действительно импульсивная женщина, что следует из ее письма, – припоминаю: Райнальди говорил мне о том же, – то ведь и я могу поддаться порыву, что и намерен сделать. Разве не порыв привел меня во Флоренцию?

– Ну? – Крестный нахмурил брови и подозрительно посмотрел на меня.

– Когда будете писать в Плимут, – сказал я, – передайте, что Филип Эшли уже слышал о смерти Эмброза. Что по получении двух писем он отправился во Флоренцию, побывал на вилле Сангаллетти, видел ее слуг, видел ее друга и советчика синьора Райнальди и успел вернуться. Что он простой человек и ведет простой образ жизни. Что он не отличается изысканными манерами, не мастер говорить и не привык к женскому обществу. Однако, если она желает увидеть его и родные места своего покойного мужа, дом Филипа Эшли к услугам кузины Рейчел, когда бы она ни пожелала посетить его.

Я поднес руку к сердцу и поклонился.

– Никогда не ожидал от тебя такого ожесточения, – медленно проговорил крестный. – Что с тобой случилось?

– Со мной ничего не случилось, – ответил я, – просто я, как молодой боевой конь, почуял запах крови. Вы не забыли, что мой отец был солдатом?

И я вышел в сад к Луизе. Новость, которую я сообщил ей, взволновала ее еще больше меня. Я взял Луизу за руку и повел к беседке возле лужайки, где мы и уселись, как два заговорщика.

– В твоем доме не годится принимать гостей, – сразу сказала Луиза, – тем более такую женщину, как графиня… как миссис Эшли. Вот видишь, я тоже волей-неволей называю ее графиней. Это выходит само собой. Ну да, Филип, ведь целых двадцать лет в доме не было женщины. Какую комнату ты отведешь ей? А пыль! Не только наверху, но и в гостиной тоже. Я заметила на прошлой неделе.

– Все это неважно, – нетерпеливо сказал я. – Если ей так неприятна пыль, может вытирать ее по всему дому. Чем меньше он ей понравится, тем лучше. Пусть наконец узнает, как счастливо и беззаботно мы жили, Эмброз и я. Не то что на вилле…

– Ах, ты не прав! – воскликнула Луиза. – Ты же не хочешь показаться невежей и грубияном, точно какой-нибудь работник с фермы. Ты выставишь себя в невыгодном свете, прежде чем она заговорит с тобой. Ты должен помнить, что она всю жизнь прожила на континенте, привыкла к удобствам, множеству слуг – говорят, заграничные слуги лучше наших, – и, конечно же, кроме вещей мистера Эшли, она привезла массу нарядов и драгоценностей. Она столько слышала от него про этот дом; она ожидает увидеть нечто не менее прекрасное, чем ее вилла. И вдруг – беспорядок, пыль и запах, как в собачьей конуре. Подумай, Филип, ведь ты не хочешь, чтобы она увидела дом именно таким, ради мистера Эшли – не хочешь?

Проклятие! Я рассердился:

– Что ты имеешь в виду, говоря, что в моем доме пахнет, как в собачьей конуре? Это дом мужчины – простой, скромный и, слава богу, всегда будет таким. Ни Эмброз, ни я никогда не увлекались модной обстановкой и безделушками, которые летят со стола на пол и вдребезги разбиваются, стоит задеть их коленом.

У Луизы хватило воспитанности изобразить если не стыд, то, по крайней мере, раскаяние.

– Извини, – сказала она, – я не хотела тебя обидеть. Ты знаешь, как я люблю ваш дом, я очень привязана к нему и всегда буду привязана. Но я не могу не сказать тебе, что? думаю о том, как его содержат. За много лет в доме не появилось ни одной новой вещи, в нем нет настоящего тепла, и прости меня, но в нем недостает уюта.

Я подумал о ярко освещенной, аккуратно прибранной гостиной, в которой Луиза заставляла крестного сидеть по вечерам, и понял, чему я – да и он, по всей вероятности, тоже – отдал бы предпочтение, доведись мне выбирать между их гостиной и моей библиотекой.

– Ладно, – сказал я, – бог с ним, с уютом. Эмброза это устраивало, устраивает и меня, а какие-то несколько дней – сколь долго она ни оказывала бы мне честь своим пребыванием – потерпит и моя кузина Рейчел.

Луиза тряхнула головой.

– Ты неисправим, – сказала она. – Если миссис Эшли именно такая, какой я ее себе представляю, то, едва взглянув на твой дом, она отправится искать приюта в Сент-Остелле или у нас.

– Милости прошу ко мне, – сказал я, – после того, как я отделаюсь от нее.

Луиза с любопытством взглянула на меня:

– И ты действительно посмеешь задавать ей вопросы? С чего ты начнешь?

Я пожал плечами:

– Не знаю, пока не увижу ее. Не сомневаюсь, что она попробует вывернуться с помощью угроз или сыграть на чувствах, устроить истерику. Но меня она не запугает и не разжалобит. Я буду смотреть на нее и наслаждаться.

– Не думаю, чтобы она стала угрожать или устраивать истерику. Просто она величаво войдет в дом и будет в нем распоряжаться. Не забудь, что она привыкла приказывать.

– В моем доме она не будет приказывать.

– Бедный Сиком! Я бы многое дала, чтобы видеть его лицо. Она будет швырять в него всем, что подвернется под руку. Итальянцы очень вспыльчивы, ты же знаешь, очень горячи. Я много об этом слышала.

– Она только наполовину итальянка, – напомнил я Луизе, – и думаю, Сиком вполне сумеет постоять за себя. Может быть, все три дня будет идти дождь, и она сляжет с ревматизмом.

Мы рассмеялись, как дети, но на сердце у меня было вовсе не легко. Приглашение, скорее похожее на вызов, сорвалось у меня с языка, и, кажется, я уже жалел о нем, однако Луизе об этом не сказал. Сожаления мои усилились, когда я приехал домой и огляделся. Боже мой, до чего же безрассудно я поступил; и если бы не гордость, то, думаю, я вернулся бы к крестному и попросил его не делать никакой приписки от меня в письме в Плимут.

Ума не приложу: зачем мне понадобилось приглашать эту женщину в мой дом? Что сказать ей, как вести себя? Уж если Райнальди сумел придать убедительность своей версии, то в ее устах она прозвучит еще более правдоподобно. Прямая атака не приведет к успеху. Что имел в виду итальянец, говоря о женской цепкости, о том, как ожесточенно они борются за себя? Если она окажется вульгарной крикуньей – я знаю, как заставить ее замолчать. Один из наших арендаторов связался с подобной особой; она пригрозила подать на него иск за нарушение обязательства жениться, и я быстро отправил ее в Девон, откуда она явилась. Но сумею ли я дать достойный отпор хитрой интриганке с медоточивым языком, высокой грудью и овечьими глазами? Я верил, что сумею. В Оксфорде мне такие встречались, я всегда находил для них резкие, даже грубые слова и без церемоний прогонял обратно в грязные норы, из которых они выползли. Нет, принимая во внимание все «за» и «против», я был твердо уверен, что, когда придет время разговаривать с моей кузиной Рейчел, я не проглочу язык. Но подготовка к ее визиту – это уравнение счета, возведение фасада учтивости, салют перед началом военных действий.

К моему немалому удивлению, Сиком встретил новость спокойно, будто ожидал ее. Я в нескольких словах объяснил ему, что миссис Эшли в Англии, она привезла с собой вещи мистера Эмброза и, возможно, прибудет к нам с кратким визитом – не позже чем через неделю. Сиком слушал меня с важным видом, и его нижняя губа не выпячивалась вперед, что обычно случалось, когда перед ним стояла трудная задача.

– Да, сэр, – сказал он, – очень правильно, так и положено. Мы все будем рады приветствовать миссис Эшли.

Я взглянул на старика поверх трубки, удивленный его напыщенностью.

– Я думал, – заметил я, – что вы, как и я, не слишком-то жалуете женщин в доме. Когда я сообщил вам, что мистер Эмброз женился и что скоро здесь появится хозяйка, вы пели по-другому.

Казалось, мои слова потрясли Сикома. На этот раз его нижняя губа выпятилась вперед.

– Это не одно и то же, сэр, – сказал он. – С тех пор произошла трагедия. Бедная женщина овдовела. Мистер Эмброз желал бы, чтобы мы сделали для нее все возможное, тем более, – он осторожно кашлянул, – что она, похоже, не получила никакого наследства от покойного.

Что за черт, подумал я, откуда он знает?

– В имении все говорят об этом, сэр, – объяснил Сиком, – все оставлено вам, мистер Филип, и ничего вдове. Видите ли, это не совсем обычно. В каждой семье, большой или маленькой, всегда выделяют определенное содержание.

– Меня удивляет, Сиком, – сказал я, – что вы слушаете разные сплетни.

– Не сплетни, сэр, – с достоинством возразил Сиком. – То, что касается семейства Эшли, касается всех нас. О нас, слугах, не забыли.

Я представил себе Сикома в его комнате, комнате дворецкого, как ее всегда называли; к нему заходят поболтать и выпить пива Веллингтон, старый кучер, Тамлин, главный садовник и лесничий, – никто из молодых слуг, конечно, не допускается, – и они, поджав губы и покачивая головой, вновь и вновь обсуждают завещание – озадаченные, смущенные.

– Забывчивость здесь ни при чем, – отрывисто проговорил я. – Мистер Эмброз был за границей, не дома, и не имел возможности заняться делами. Он не собирался умирать там. Если бы он вернулся, все было бы иначе.

– Да, сэр, – сказал Сиком, – так мы и думали.

Ну ладно, пусть себе чешут языком о завещании. Но я вдруг с горечью подумал о том, как бы они стали относиться ко мне, если бы я не унаследовал имение.

Почтительно? Терпимо? Или смотрели бы на меня как на молодого мистера Филипа, бедного родственника, который живет в комнате на задворках? Сколько людей, размышлял я, любили меня и служили мне ради меня самого?

– Пока все, Сиком, – сказал я. – Если миссис Эшли решит посетить нас, я сообщу вам. Вот только не знаю, какую комнату ей отвести.

– Но, мастер Филип, сэр, – сказал удивленный Сиком, – конечно, правильнее всего будет предоставить ей комнату мистера Эшли.

Я онемел от неожиданности и молча уставился на Сикома. Затем, из опасения выдать свои чувства, отвернулся.

– Нет, – сказал я, – это невозможно. Я сам перейду в комнату мистера Эшли. Я решил сменить комнату несколько дней назад.

– Очень хорошо, сэр, – сказал он, – в таком случае больше всего миссис Эшли подойдут голубая комната и гостиная.

И он вышел.

Боже мой, подумал я, пустить эту женщину в комнату Эмброза!.. Какое кощунство!.. Кусая черенок трубки, я бросился в кресло. Я был сердит, раздражен, меня буквально тошнило от всего этого. Просить крестного приписать в письме к ней несколько слов от меня было безумием; еще большее безумие – принимать ее в своем доме. Во что я впутался, черт возьми?! А этот идиот Сиком с его представлениями о том, что правильно, что нет!

Приглашение было принято. Она написала крестному, не мне. Сиком, несомненно, счел бы это вполне правильным и приличным. Приглашение пришло не лично от меня, следовательно, и ответ на него надлежало отправить по соответствующему каналу. Она писала, что будет готова, как только мы сочтем удобным прислать за ней; если же нам это неудобно, то она приедет в почтовой карете. Я ответил, опять-таки через крестного, что пришлю за ней экипаж в пятницу. Вот и все.

Пятница наступила слишком быстро. Унылый, пасмурный день со шквальным ветром. В третью неделю сентября, когда прилив особенно высок, у нас часто выдаются такие дни. С юго-запада по небу стремительно неслись низкие тучи, угрожая еще до наступления вечера разразиться дождем. Один из наших ливней, может быть с градом, который был бы очень кстати. Приветствие западного края. И никакого неба Италии. Веллингтона с лошадьми я послал еще накануне. Он должен был переночевать в Плимуте и вернуться с ней. С тех пор как я сказал слугам, что ожидаю приезда миссис Эшли, весь дом охватило волнение. Даже собаки почувствовали это и ходили за мной по пятам из комнаты в комнату. Сиком напоминал старого жреца, который после многих лет отлучения от какой бы то ни было религиозной службы вдруг вновь приспосабливается к отправлению забытого ритуала. Таинственный, торжественный, едва слышными шагами ходил Сиком по дому – он специально купил себе туфли на мягкой подошве, – и в столовой, на столе, на буфете, появилось серебро, которого я не видел ни разу в жизни. Должно быть, реликвии времен моего дяди Филипа. Огромные канделябры, сахарницы, кубки и – Господи Иисусе! – посреди них серебряная ваза с розами.

– С каких пор, – спросил я, – вы заделались псаломщиком, Сиком? Как насчет ладана и святой воды?

На лице Сикома не дрогнул ни один мускул. Он отошел на шаг и осмотрел свои реликвии.

– Я просил Тамлина принести срезанных цветов из цветника, – сказал он, – ребята сейчас разбирают их. Цветы нам понадобятся. Для гостиной, голубой спальни, туалетной и будуара.

И он нахмурился, глядя на юного Джона, поваренка, который поскользнулся и едва не упал под тяжестью еще одной пары канделябров.

Собаки, понурые и притихшие, не сводили с меня глаз. Одна из них заползла под скамью в холле и притаилась там. Бог знает когда в последний раз я переступал порог голубой комнаты. Гости у нас не останавливались, и она была связана для меня с воспоминаниями об игре в прятки, когда крестный много лет назад привез к нам на Рождество Луизу. Я помнил, как прокрался в окутанную тишиной комнату и спрятался под кроватью. Эмброз однажды сказал, что в голубой комнате в свое время жила тетушка Феба, а потом она переехала в Кент и вскоре умерла.

От прежней обитательницы в комнате не осталось и следа. Молодые слуги под руководством Сикома поработали на славу и смели тетушку Фебу вместе с пылью десятилетней давности. Окна, выходившие в поле, были распахнуты, и солнечные зайчики играли на тщательно выбитых ковровых дорожках. Кровать застелили бельем такого качества, какое мне и не снилось. Неужели этот умывальник с кувшином, подумал я, всегда стоял в смежной с голубой комнатой туалетной? А это кресло, разве оно отсюда? Я не помнил ни того, ни другого, но ведь я не помнил и саму тетушку Фебу, которая переехала в Кент еще до моего появления на свет. Впрочем, что годилось для нее, сойдет и для моей кузины Рейчел.

Анфиладу из трех комнат завершал будуар тетушки Фебы со сводчатым потолком. Там тоже вытерли пыль и открыли окна. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что и туда я не заходил со времен той самой игры в прятки. Над камином висел портрет Эмброза в молодости. Я даже не подозревал о его существовании, да и сам Эмброз, вероятно, забыл о нем. Если бы портрет принадлежал кисти знаменитого художника, его поместили бы внизу, рядом с другими семейными портретами, но его отправили сюда, в эту заброшенную комнату, и, значит, никто не видел в нем особой ценности. Портрет был поясной. Художник изобразил Эмброза с ружьем под мышкой и с убитой куропаткой в левой руке. Глаза Эмброза смотрели прямо в мои глаза, губы слегка улыбались. Волосы были длиннее, чем мне помнилось. Ни в самом портрете, ни в лице изображенного не было ничего особенного. Кроме одного. Поразительного сходства со мной. Я посмотрел в зеркало и снова перевел взгляд на портрет; единственное различие заключалось в разрезе глаз – у него они были чуть у?же – и в более темном цвете волос. Мы могли быть братьями-близнецами – молодой человек на портрете и я. Неожиданно открыв для себя наше сходство, я пережил неведомое прежде душевное волнение. Казалось, молодой Эмброз улыбается мне и говорит: «Я с тобой». Но и другой, старший, Эмброз был рядом. Я всем существом ощущал его близость. Я вышел из будуара, закрыл за собой дверь и, пройдя через голубую комнату и туалетную, спустился вниз.

У подъезда послышался шум колес. Это был догкарт[3 - Высокий двухколесный экипаж с местом для собак под сиденьем (англ.). От dog (собака) и cart (повозка).] Луизы; на сиденье рядом с ней лежали огромные охапки сентябрьских маргариток и делий.

– Для гостиной! – крикнула она, увидев меня. – Я подумала, что Сиком будет рад им.

Сиком, который в эту минуту с ватагой своих фаворитов проходил через холл, счел себя оскорбленным и не стал этого скрывать. Он застыл на месте и, когда Луиза с цветами вошла в дом, обратился к ней:

– Вам не следовало беспокоиться, мисс Луиза. Я обо всем договорился с Тамлином. Первым делом из цветника принесли достаточно цветов.

– В таком случае я могу их расставить, – сказала Луиза, – вы, мужчины, только вазы перебьете. Полагаю, у вас есть вазы? Или цветы распихали в банки для варенья?

По лицу Сикома можно было изучать все оттенки выражения уязвленного достоинства. Я поспешно втолкнул Луизу в библиотеку и захлопнул дверь.

– Я подумала, – сказала Луиза вполголоса, – не захочешь ли ты, чтобы я осталась присмотреть за порядком и была здесь, когда приедет миссис Эшли. Папа тоже приехал бы со мной, но он все еще нездоров, а того и гляди начнется дождь, поэтому я решила, что ему лучше остаться дома. Ну так как? Мне остаться? Цветы – только предлог.

Я почувствовал легкое раздражение оттого, что она и крестный считают таким недотепой меня, да и бедного старика Сикома, который последних три дня работал, как надсмотрщик на плантации.

– Очень мило с твоей стороны, – сказал я. – Но в этом нет никакой необходимости. Мы прекрасно справимся сами.

По лицу Луизы было видно, что она разочарована. Она, разумеется, горела любопытством увидеть мою гостью. Я не сказал ей, что и сам не намерен быть дома, когда та приедет.

Луиза придирчиво оглядела комнату, но удержалась от комментариев. Конечно, она заметила много огрехов, но у нее хватило такта не давать воли языку.

– Если хочешь, сходи наверх и посмотри голубую комнату, – предложил я подачку за причиненное разочарование.

– Голубую комнату? – переспросила Луиза. – Ту, что выходит на восток, над гостиной? Значит, ты не отвел ей комнату мистера Эшли?

– Нет, – ответил я. – Комнату Эмброза я заберу себе. Я не успел сказать вам об этом. Вот уже несколько дней, как я решил переехать туда. Если ты действительно хочешь расставить цветы, попроси у Сикома вазы, – сказал я, направляясь к дверям. – У меня полно дел в имении, и почти весь день меня не будет дома.

Не сводя с меня глаз, она собрала цветы.

– Кажется, ты расстроен, – сказала она.

– Я не расстроен, – ответил я. – Просто мне надо побыть одному.

Луиза покраснела и отвернулась, а я почувствовал угрызения совести, которые сразу просыпаются, стоит мне кого-нибудь обидеть.

– Извини, Луиза, – сказал я, гладя ее по плечу. – Не обращай на меня внимания. Я благодарю тебя за то, что приехала, за цветы, за предложение остаться.

– Когда я теперь увижу тебя и услышу что-нибудь о миссис Эшли? – спросила она. – Ты же знаешь, как мне не терпится обо всем узнать. Если папе станет лучше, мы, конечно, приедем в воскресенье в церковь, но весь завтрашний день я только и буду думать… мне будет интересно…

– Что – интересно? – спросил я. – Не швырнул ли я мою кузину Рейчел через мыс? Очень возможно, если она уж слишком доведет меня. Послушай, ради того, чтобы удовлетворить твое любопытство, я приеду завтра в Пелин и все изображу тебе в лицах. Ты довольна?

– Это будет замечательно, – улыбаясь, сказала Луиза и вышла искать Сикома и вазы.

Я отсутствовал все утро и вернулся около двух пополудни. После нескольких часов, проведенных в седле, меня мучили голод и жажда, и я утолил их куском холодного мяса и кружкой эля. Луиза уже уехала. Сиком и слуги обедали на

своей половине. Я стоял один в библиотеке и жевал хлеб с мясом. В последний раз один, подумалось мне. Вечером она будет здесь, в этой комнате, или в гостиной – неведомый, враждебный призрак – и наложит свой отпечаток на мои комнаты, на мой дом. Она бесцеремонно вторглась в мою жизнь. Я не хотел ее приезда. Не хотел, чтобы она или любая другая женщина с въедливыми глазами и цепкими пальцами нарушала атмосферу, интимную и сугубо личную, близкую и понятную одному лишь мне. Дом притих, все молчало, и я был его частичкой, был связан с ним, как некогда Эмброз, а теперь его тень. Мы не хотели, чтобы кто-то чужой нарушал здесь тишину.

Я обвел взглядом комнату, как будто на прощание, затем вышел из дома и углубился в лес.

Рассудив, что Веллингтон с экипажем будет дома не ранее пяти часов, я решил возвратиться в начале седьмого. С обедом могут и подождать. Сиком имел распоряжение на сей счет. Если она проголодается, ей придется потерпеть до возвращения хозяина дома. Я не без удовольствия представил себе, как она в полном одиночестве сидит в гостиной, расфуфыренная в пух и прах, надутая от важности, и никто не приходит к ней с поклоном.

Дул сильный ветер, лил дождь, но я шел все дальше и дальше. Вверх по аллее до перепутья Четырех Дорог, на восток, к границе наших земель, затем снова через лес и на север, к дальним фермам, где я еще немного потянул время в разговоре с арендаторами. Через парк, западные холмы и, когда уже начали сгущаться сумерки, наконец к дому по Бартонским акрам. Я промок до костей, но мне было все равно.

Я открыл дверь и вошел в холл, ожидая увидеть следы приезда – коробки, чемоданы, дорожные пледы, корзины, но все было как обычно, ничего лишнего.

В библиотеке ярко пылал камин, но она была пуста. В столовой на столе стоял один прибор. Я позвонил. Появился Сиком.

– Ну? – спросил я.

На лице старика отражалось вновь обретенное сознание собственной значительности, голос звучал приглушенно.

– Госпожа приехала, – сказал он.

– Я так и полагал, – ответил я, – сейчас, должно быть, около семи. Она привезла какой-нибудь багаж? Куда вы его дели?

– Госпожа привезла совсем немного своих вещей, – сказал он. – Все коробки и чемоданы принадлежали мистеру Эмброзу. Их отнесли в вашу прежнюю комнату, сэр.

– Вот как!

Я подошел к камину и пнул ногой полено. Ни за что на свете я не мог допустить, чтобы он заметил, как у меня дрожат руки.

– А где сейчас миссис Эшли? – спросил я.

– Госпожа удалилась в свою комнату, – ответил он. – Госпожа устала и просит вас извинить ее за то, что она не спустится к обеду. Около часа назад я распорядился отнести поднос в ее комнату.

Я вздохнул с облегчением.

– Как она доехала? – спросил я.

– Веллингтон сказал, что после Лискерда дорога была очень скверная, сэр, – ответил он. – Дул сильный ветер. Одна лошадь потеряла подкову, и, не доезжая до Лостуитиела, им пришлось завернуть в кузницу.

– Хм-м…

Я повернулся спиной к огню и стал греть ноги.

– Вы совсем промокли, сэр, – сказал Сиком. – Неплохо бы вам переодеться, а то простудитесь.

– Да-да, сейчас, – ответил я, оглядывая комнату. – А где собаки?

– По-моему, они отправились с госпожой наверх, – сказал он. – Во всяком случае, старик Дон; правда, за остальных я не ручаюсь.

Я продолжал греть ноги у огня. Сиком топтался перед дверью, словно ожидал, что я продолжу разговор.

– Прекрасно, – сказал я. – Я приму ванну и переоденусь. Скажите, чтобы принесли горячей воды. Через полчаса я сяду обедать.

В тот вечер я сел обедать один – напротив до блеска начищенных канделябров и серебряной вазы с розами. Сиком стоял за моим стулом, но мы не разговаривали. Именно в тот вечер молчание, наверное, было для него истинной пыткой – я ведь знал, как он жаждет высказать свое мнение о гостье. Ничего, он сможет потом наверстать упущенное и всласть излить душу со слугами.

Едва я кончил обедать, как в столовую вошел Джон и что-то шепнул Сикому. Старик склонился над моим плечом.

– Госпожа прислала сказать, что, если вы пожелаете увидеть ее, когда отобедаете, она с удовольствием примет вас, – сказал он.

– Благодарю вас, Сиком.

Когда они вышли, я сделал нечто такое, что делал очень редко. Разве что в крайнем изнеможении, пожалуй, после изнурительной поездки верхом, долгой, утомительной охоты или схватки с волнами, когда мы с Эмброзом ходили на лодке под парусами. Я подошел к буфету и налил себе коньяка. Затем поднялся наверх и постучал в дверь будуара.

Глава 8

Тихий, едва слышный голос пригласил меня войти. Несмотря на то что уже стемнело и горели свечи, портьеры были не задернуты; она сидела на диване у окна и смотрела в сад. Сидела спиной ко мне, сжав руки на коленях. Наверное, она приняла меня за одного из слуг, поскольку даже не шелохнулась, когда я

вошел в комнату. Дон лежал у камина, положив голову на передние лапы, две молодые собаки расположились рядом с ним. В комнате все стояло на своих местах, ящики небольшого секретера были закрыты, одежда убрана – никаких признаков беспорядка, связанного с приездом.

– Добрый вечер, – сказал я, и мой голос прозвучал напряженно и неестественно в этой маленькой комнате.

Она обернулась, быстро встала и шагнула мне навстречу. Все произошло в один миг, и мне некогда было оживить в памяти десятки образов, в которые мое воображение облекало ее последние полтора года. Женщина, которая преследовала меня дни и ночи, лишала покоя в часы бодрствования, кошмарным видением являлась во сне, стояла рядом. От изумления я едва не оцепенел – настолько она была миниатюрна. Она едва доставала мне до плеча. Ни ростом, ни фигурой она не походила на Луизу.

Она была в черном платье – отчего казалась особенно бледной, – по вороту и запястьям отделанном кружевами. Ее каштановые волосы были расчесаны на прямой пробор и собраны узлом на затылке; черты лица были правильны и изящны. Большими у нее были только глаза; увидев меня, словно пораженные неожиданным сходством, они расширились, как глаза испуганной лани. Испуг узнавания сменился замешательством, замешательство – болью, едва ли не страхом. Я видел, как легкий румянец проступил на ее лице и тут же исчез. Думаю, я вызвал у нее такое же потрясение, как и она у меня. Не рискну сказать, кто из нас испытывал большее волнение, большую неловкость.

Я уставился на нее с высоты своего роста, она смотрела на меня снизу вверх, и прошло несколько мгновений, прежде чем хоть один из нас заговорил. Когда же мы заговорили, то заговорили одновременно:

– Надеюсь, вы отдохнули. – Моя лепта.

И ее:

– Я должна извиниться перед вами.

Она успешно воспользовалась моей подачей:

– О да, благодарю вас, Филип, – и, подойдя к камину, опустилась на низкую скамеечку и жестом указала мне на стул против себя.

Дон, старый ретривер, потянулся, зевнул, встал и положил голову ей на колени.

– Ведь это Дон, я не ошиблась? – спросила она, кладя руку ему на нос. – В прошлый день рождения ему действительно исполнилось четырнадцать лет?

– Да, – сказал я, – его день рождения на неделю раньше моего.

– Вы нашли его в пироге за завтраком, – сказала она. – Эмброз прятался в столовой за экраном и наблюдал, как вы снимаете корочку. Он рассказывал мне, что никогда не забудет вашего изумленного лица, когда из пирога выполз Дон. В тот день вам исполнилось десять лет, и это было первое апреля.

Она подняла глаза от блаженствующего Дона, улыбнулась мне, и, к своему полному замешательству, я увидел на ее ресницах слезы; они блеснули и тут же высохли.

– Я приношу вам свои извинения за то, что не спустилась к обеду, – сказала она. – Ради одной меня вы так хлопотали и, наверное, спешили вернуться домой гораздо раньше, чем того требовали ваши дела. Но я очень устала и составила бы вам плохую компанию. Мне казалось, вам будет гораздо спокойнее пообедать одному.

Я вспомнил, как бродил по имению из конца в конец, лишь бы заставить ее дожидаться меня, и ничего не сказал. Одна из молодых собак проснулась и лизнула мне руку. Чтобы хоть как-то занять себя, я потянул ее за уши.

– Сиком рассказал мне, как много у вас дел, – сказала она. – Я ни в коем случае не хочу, чтобы мой неожиданный приезд в чем-то стеснил вас. Я найду чем заняться, не затрудняя вас, и это мне будет более чем приятно. Из-за меня вам не следует вносить никаких изменений в свои планы на завтра. Я хочу сказать только одно: я благодарна вам, Филип, за то, что вы разрешили мне приехать. Вам это было, конечно, нелегко.

Она встала и подошла к окну задернуть портьеры. Дождь громко стучал по стеклам. Вероятно, мне самому следовало задернуть портьеры, не ей. Я не успел. Я попробовал исправить свою оплошность и неловко поднялся со стула, но, так или иначе, было слишком поздно. Она вернулась к камину, и мы снова сели.

– Когда я через парк подъезжала к дому и увидела в дверях Сикома, который вышел навстречу, мною овладело странное чувство, – сказала она. – Вы знаете, я проделала этот путь множество раз – в воображении. Все было именно так, как я себе представляла. Холл, библиотека, картины на стенах. Когда экипаж подъехал к дому, на часах пробило четыре; даже этот бой был знаком мне.

Я теребил собачьи уши. На нее я не смотрел.

– По вечерам во Флоренции, – говорила она, – в последнее лето и зиму перед болезнью Эмброза, мы часто говорили о путешествии домой. Ничто не доставляло ему большей радости. С каким увлечением он рассказывал мне про сад, парк, лес, тропинку к морю… Мы собирались вернуться тем маршрутом, которым я приехала; именно поэтому я его и выбрала. Генуя, а из нее – в Плимут. Там нас ждет Веллингтон с экипажем и везет домой. Как мило с вашей стороны, что вы прислали его, что вы угадали мои чувства.

Я ощущал себя полным дураком, но все же обрел дар речи.

– Боюсь, дорога из Плимута была довольно скверной, – сказал я. – Сиком говорил, что вам пришлось остановиться в кузнице и подковать одну из лошадей. Мне очень жаль, что так случилось.

– Это меня нисколько не огорчило, – сказала она. – Я с удовольствием посидела у огня, наблюдая за работой и болтая с Веллингтоном.

Теперь она держалась вполне свободно. Первое смущение прошло, если оно вообще было. Зато я вдруг обнаружил, что из нас двоих неловкость испытываю именно я; я чувствовал себя громоздким и нескладным в этой крошечной комнате, а стул, на котором я сидел, годился бы только карлику. Неудобная поза – самое губительное для того, кто хочет выглядеть раскованно и непринужденно, и меня мучило то, как я выгляжу, сидя на этом проклятом стуле, неуклюже подобрав под него чересчур большие ноги и свесив по бокам

длинные руки.

– Веллингтон хлыстом указал мне на подъездную аллею к дому мистера Кендалла, – сказала она, – и я подумала, что из учтивости следовало бы засвидетельствовать ему свое почтение. Но было уже поздно. Лошади промчались мимо ворот, и к тому же я очень хотела поскорее оказаться… здесь.

Она помедлила, прежде чем произнести слово «здесь», и я догадался, что она чуть было не сказала «дома», но вовремя удержалась.

– Эмброз все так хорошо описал мне, – продолжала она, – от холла до последней комнаты в доме. Он даже набросал для меня план, и я почти уверена, что сегодня с закрытыми глазами нашла бы дорогу. – На мгновение она замолкла, затем сказала: – Вы проявили редкую проницательность, отведя мне эти комнаты. Именно их мы и собирались занять, если бы были вместе. Эмброз хотел, чтобы вы переехали в его комнату; Сиком сказал, что вы так и сделали. Эмброз был бы рад.

– Надеюсь, вам будет удобно, – сказал я. – Кажется, здесь никто не жил после особы, которую звали тетушка Феба.

– Тетушка Феба заболела от любви к некоему викарию и уехала залечивать раны сердца в Тонбридж, – сказала она. – Но сердце оказалось упрямым, и тетушка Феба подхватила простуду, которая длилась двадцать лет. Неужели вы не слышали об этой истории?

– Нет, – ответил я и украдкой взглянул на нее.

Она смотрела на огонь и улыбалась, скорее всего воспоминанию о тетушке Фебе. Ее сжатые руки лежали на коленях. Никогда прежде не видел я таких маленьких рук у взрослого человека. Они были очень тонкие, очень узкие, как руки на незаконченных портретах старых мастеров.

– Итак, – сказал я, – какова же дальнейшая история тетушки Фебы?

– Простуда оставила ее через двадцать лет – после того, как взору тетушки явился другой викарий. Но к тому времени тетушке Фебе исполнилось сорок

пять, и сердце ее было уже не таким хрупким. Она вышла замуж за второго викария.

– Брак был удачным?

– Нет, – ответила кузина Рейчел, – в первую брачную ночь она умерла от потрясения.

Она обернулась и посмотрела на меня, губы ее слегка подрагивали, однако глаза были все так же серьезны. Я вдруг представил себе, как Эмброз рассказывает ей эту историю: он, сгорбившись, сидит в кресле, плечи его трясутся, а она смотрит на него снизу вверх, совсем как сейчас, едва сдерживая смех. Я не выдержал. Я улыбнулся кузине Рейчел… с ее глазами что-то произошло, и она тоже улыбнулась мне.

– Думаю, что вы на ходу сочинили всю эту историю, – сказал я, сразу пожалев о своей улыбке.

– Ничего подобного, – возразила она. – Сиком наверняка знает ее. Спросите его.

Я покачал головой:

– Он сочтет неуместным вспоминать о ней. И будет глубоко потрясен, если решит, что вы мне ее рассказали. Я забыл вас спросить: принес ли он вам что-нибудь на обед?

– Да. Чашку супа, крыло цыпленка и почки с пряностями. Все было восхитительно.

– Вы, конечно, уже поняли, что в доме нет женской прислуги? Прислуживать вам, развешивать ваши платья у нас некому; только молодые Джон и Артур, которые наполнят для вас ванну.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136736&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных средних школ; находится в пригороде Лондона.

2

Отвар, настой из трав (ит.).

3

Высокий двухколесный экипаж с местом для собак под сиденьем (англ.). От dog (собака) и cart (повозка).

Купить: https://tellnovel.com/ru/dafna-dyumore/moya-kuzina-reychel-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить